

№ 5

# РОМАН-ГАЗЕТА

ГОД ИЗДАНИЯ ДВЕНАДЦАТЫЙ



М. ШОЛОХОВ

## ТИХИЙ ДОН

Книга IV

---

ГОСЛИТИЗДАТ • 1938





КОГИЗ  
«ПОЛИТКНИГА»

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО  
ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ В СССР

## ЧИТАЙТЕ ИНОСТРАННУЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТЕРАТУРУ В ОРИГИНАЛЕ

Имеются в продаже книги

### НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

БРЕДЕЛЬ, В.— «Испытание». Роман. 295 стр. Цена в пер. 4 р. 75 к.  
ВОЛЬФ, Ф.— «Бедный Конрад». Пьеса. 116 стр. Цена 1 р. 75 к.  
ВОЛЬФ, Ф.— «Матросы из Катарро». Пьеса. Цена 1 р. 75 к.  
ВОЛЬФ, Ф.— «Троянский конь». Пьеса. 135 стр. Цена 2 руб.  
ВОЛЬФ, Ф.— «Флорисдорф». Пьеса. 135 стр. Цена 2 р. 50 к.  
ГЕЙНЕ, Г.— Избранные произведения в 4-х томах. Том I. 334 стр.  
Цена в пер. 8 руб.

Том II. 279 стр. Цена в пер. 8 руб.

ГЕРНЛЕ, Э.— «Крестьяне под игом». Рассказы. 136 стр.  
Цена 1 р. 75 к.

ГОТТОП, А.— «Штандер (Ц)». Рассказы. 79 стр. Цена 1 руб.

ЗЕГЕРС, А.— «Путь через Февраль». Роман. 376 стр. Цена  
в пер. 4 р. 75 к.

РЕГЛЕР, Г.— «Под перекрестным огнем». Роман. 212 стр.  
Цена в пер. 4 руб.

РЕНН, Л.— «Война». «После войны». 629 стр. Цена в пер.  
7 р. 75 к.

ЦИННЕР, Г.— «Под крышами». Стихи. 90 стр. Цена 1 р. 50 к.

ШЕНШТЕДТ, В.— «Застрелен при попытке к бегству».  
Рассказы. 232 стр. Цена в пер. 2 р. 50 к.

ЭРПЕНБЕН, Ф.— «Но я не хотел быть трусом». Рассказы.  
136 стр. Цена 1 р. 75 к.

### НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

КОНРОЙ, Д.— «Обездоленные». Роман. 370 стр. Цена в пер.  
6 руб.

РОЛЛИНС, В.— «Тень впереди». 471 стр. Цена в пер. 7 руб.

СТИЛ, Д.— «Конвейер». Роман. 234 стр. Цена в пер. 4 руб.

УИТМАН, У.— «Листья травы». 558 стр. Цена в пер. 10 руб.

ФИЛЬДИНГ, Г.— «История Тома Джонса — найденыша».  
930 стр. Цена в пер. 14 руб.

ШЕКСПИР, В.— «Избранные произведения». В 4-х томах.  
Том I. Цена в пер. 18 руб.

Том II. Цена в пер. 18 руб.

**ТРЕБУЙТЕ ЭТИ КНИГИ ВО ВСЕХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ КОГИЗА.**  
В случае отсутствия на местах, почтовые заказы просим направ-  
лять в ближайшее областное (краевое) отделение Когиза или  
по адресу:

**МОСКВА, УЛ. ГОРЬКОГО, 51, ДОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ КНИГИ**

# РОМАН-ГАЗЕТА

№ 5

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“

МИХ. ШОЛОХОВ

## ТИХИЙ ДОН

РОМАН

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

### ГЛАВА I

Верхнедонское восстание, оттянувшее с Южного фронта значительное количество красных войск, позволило командованию Донской армии не только свободно произвести перегруппировку своих сил на фронте, прикрывавшем Новочеркасск, но и сосредоточить в районе станций Каменской и Усть-Белокалитвенской мощную ударную группу из наиболее стойких и испытанных полков, преимущественно низовских и калмыцких, в задачу которой входило: в соответствующий момент, совместно с частями генерала Фицхелаурова, сбить 12-ю дивизию, составлявшую часть 8-й Красной армии, и, действуя во фланг и тыл 13-й и Уральской дивизиям, прорваться на север с тем, чтобы соединиться с восставшими верхнедонцами.

План по сосредоточению ударной группы, разработанный в свое время командующим Донской армией генералом Денисовым и начштаба генералом Пюляковым, к концу мая был почти целиком осуществлен. К Каменской перебросили около 16 000 штыков и сабель при 36 орудиях и 140 пулеметах; подтягивались последние конные части и отборные подки так называемой молодой армии, сформированной летом 1918 года из молодых, призывного возраста, казаков.

А в это время, окруженные с четырех сторон, повстанцы продолжали отбивать атаки карательных красных войск. На юге, по левому берегу Дона, две повстанческие дивизии упрямо отсиживались в траншеях и не давали противнику переправиться, несмотря на то, что на всем протяжении фронта многочисленные красноармейские батареи вели по ним почти непрерывный, ожесточенный огонь; остальные три дивизии ограждали повстанческую территорию с запада, севера и востока, несли колоссальный урон, особенно на северо-восточном участке, но все же не отступали и все время держались на границах Хоперского округа.

Сотня татарцев, расположенная против своего хутора и скучающая от вынужденного безделья, олажды учинила красноармейцам тревогу: темной ночью вызвавшиеся охотой казаки бесшумно переправились на баркасах на правую сторону Дона, врасплох напали на красноармейскую заставу, убили четырех красноармейцев и захватили пулемет. На другой день красные перебросили из-под Вешенской батарею, и она открыла беглый огонь по казачьим траншеям. Как только по лесу зацокала шрапнель, сотня спешно оставила траншеи, отошла позальше от Дона, вглубь леса. Через сутки батарею отозвали, и татарцы снова заняли покинутые пози-

нии. От орудийного обстрела сотня понесла урон: осколками снаряда было убито двое малолетков из недавно поступившего пополнения и ранен глыво-что приехавший перед этим из Вешенской вестовой сотенного командира.

Потом установилось относительное затишье, и жизнь в траншеях пошла прежним порядком. Частенько наведывались бабы, приносили по вечерам хлеб и самогон, а в харчах у казаков нужды не было: зарезали двух прибудившихся телок, кроме того, ежедневно промышляли в озерах рыбу. Христоня числился главным по рыбному делу. В его ведении был десятисаженный бредень, брошенный у берега кем-то из отступавших и доставшийся сотне, и Христоня на ловле постогапно ходил «от глубин», выхваляясь, будто нет такого озера в дугу, которого он не перебрел бы. За неделю безустального рыболовства рубаха и шаровары его настолько пропитались невыветривающимся запахом рыбьей сырости, что Аникушка под конец наотрез отказался ночевать с ним в одной землянке, заявив:

— Воляет от тебя, как от дохлого сома! С тобой тут ежели еще сутки пожить, так потом всю жизнь душа не будет рыбы принимать...

С той поры Аникушка, неглядя на комаров, спал возле землянки. Перед сном, брезгливо морщась, отметал веиником рассыпанную по песку рыбью шелуху и зловонные рыбы внутренности, а утром Христоня, возвратясь с ловли, невозмутимый и важный, садился у входа в землянку и снова чистил и потрошил привнесенных карасей. Около него роились зеленые мухи-червики, тучами приползали яростные желтые муравьи. Потом, захватившись, прибежал Аникушка, орал еще издалека:

— Окромя тебе места нету? Хоть бы ты, чертвяк, подавился рыбьей костью! Ну, отойди, ради христа, в сторону! Я тут силю, а ты кишков рыбьих накидал, муравьев приманул со всего округа и вопищу распустил, как в Астрахани!

Христоня вытирал самодельный нож о штанину, раздумчиво и долго смотрел на безудное возмущенное лицо Аникушки, спокойно говорил:

— Стало быть, Аникей, в тебе глыва есть, что ты рыбьего духа не терпишь. Ты чеснок ешь патошак, а?

Отплевываясь и дугаясь, Аникушка уходил.

Стычки продолжались в них изо дня в день. Но в общем сотня жила мирно. От сытного котла все казаки были веселые, за исключением Степана Астахова.

Узнал ли от хуторных казаков Степан, или подсказало ему сердце, что Аксинья в Вешенской встречается с Григорием, но вдруг заскучал он, ни с того, ни с сего поругался со взводным и наотрез отказался вести караульную службу.

Безвылазно лежал в землянке на черной тазреной подстилке, вздыхал и жадно курил табак-самосад. А потом прослышал, что сотенный командир посылает Аникушку в Вешенскую за патронами, и впервые за двое суток вышел из землянки. Щуря слезящиеся, опухшие от бессонницы глаза, недоверчиво оглядел взлохмаченную, ослепительно яркую листву колеблющихся деревьев, вздыбленные ветром белогривые облака, послушал ропшущий лесовой шум и пошел мимо землянок разыскивать Аникушку.

При казаках не стал говорить, а отвел его в сторону, попросил:

— Разыщи в Вешках Аксинью и моим словом скажи, чтобы пришла меня проведать. Скажи, что обовшивел я, рубахи и портки нестираные, и к тому же скажи... — Степан на миг приумолк, хоровя под усами смущенную усмешку, закончил: — Скажи, что, мол, даже соскучился и жлет вскорости.

Ночью Аникушка приехал в Вешенскую, нашел квартиру Аксиньи. После размолвки с Григорием она жила по-прежнему в тетки. Аникушка добросовестно перелал сказанное ему Степаном, но для внешней внушительности добавил от себя, что Степан грозил сам прийти в Вешенскую, в случае если Аксинья не явится в сотню.

Она выслушала наказ и засобиравшись, Тетка наснех поставила тесто, напекла бурсаков, а через два часа Аксинья — покорная жена — уже ехала с Аникушкой к месту расположения Татарской сотни.

Степан встретил жену с потаенным волнением. Он пыгливо всматривался в исхудавшее ее лицо, осторожно расспрашивал, но ни словом не обмолвился о том, видела она Григория или нет.



Только раз в разговоре спросил, опустив глаза, чуть отвернувшись.

— А почему ты пошла на Вешки этой стороной? Почему не переправи-лась против хутора?

Аксинья сухо ответила, что переправиться с чужими не было возможности, а просить Мелеховых не захотела. И уж после того, как ответила, сообразила, что получается так, будто Мелеховы ей не чужие, а свои. И смутилась от того, что и Степан мог так понять ее. А он, вероятно, так и понял. Что-то дрогнуло у него под бровями, и по лицу словно прошла тень.

Он вопрошающе поднял на Аксинью глаза, и она, понимая этот немой вопрос, вдруг вспыхнула от смущения, от досады на самое себя.

Степан, шаяя ее, сделал вид, что ничего не заметил. — перевел разговор на хозяйство, стал расспрашивать, что из имущества успела спрятать перед уходом из дома и надежно ли спрятала.

Аксинья, отметив про себя великодушие мужа, отвечала ему, но все время испытывала какую-то шемпящую внутреннюю неловкость и, чтобы убедить его в том, что все возникшее между ними зряшно, чтобы скрыть собственное волнение, — нарочито замедляла речь, говорила с деловитой сдержанностью и сухостью.

Они разговаривали, сидя в землянке. Все время им мешали казаки. Входил то один, то другой. Пришел Христоня и тут же расположился спать. Степан, видя, что поговорить без посторонних не удастся, неохотно прекратил разговор.

Аксинья образованно встала, торопливо развязала узелок, угостила мужа привезенными из станипы бурсаками и, взяв из походной сумы Степана грязное белье, вышла постирать его в ближайшей музге<sup>1</sup>.

Предутренняя тишина и голубой туман стояли над лесом. Клонилась к земле отягощенные рососою травы. В музгах недружно квакали лягушки, и где-то, совсем неподалеку от землянки, за пышно разросшимся кленовым кустом скрипуче кричал коростель.

Аксинья прошла мимо куста. Весь он, от самой макушки до сокрытого в густейшей травяной поросли ствола, был оплетен паутиной. Нити паутины,

унизанные мельчайшими капельками росы, жемчужно искрились. Коростель на минутку умолк, а потом, еще не успев выпрямиться примята босыми ногами Аксиньи трава, — снова позал голос, и в ответ ему горестно откликнулся поднявшийся из музги чибис.

Аксинья скинула кофточку и стеснявший движения лиф, по колени забрела в парно-теплую воду музги, стала стирать. Над нею ронлась мошкара, звенели комары. Согнутой в локте полной и смуглой рукой она проводила по лицу, отгоняя комаров. Неотвизно думала о Григории, об их последней размовке, предшествовавшей поездке его в сотню.

«Может, он зараз уже ищет меня? Пынце же ночью вернусь в станицу!» — бесспоротно решила Аксинья и улыбнулась своим мыслям о том, как она встретится с Григорием и каким скворым будет примирение.

И диковинно последнее время, думая о Григории, она почему-то не представляла его внешнего облика таким, каким он был на самом деле. Перед глазами ее возникал не теперешний Григорий, большой, мужественный, поживший и много испытывавший казачина с усталым прижмуром глаз, с порыжевыми кончиками черных усов, с преждевременной седной на висках и жесткими морщинами на лбу — неистребимыми следами пережитых за годы войны лишений. — а тот прежний Гришка Мелехов, по-юношески грубоватый и неумелый в ласках, с юношески круглой и тонкой шеей и беспечным складом постоянно улыбающихся губ.

И от этого Аксинья испытывала к нему еще большую любовь и почти материнскую нежность.

Вот и теперь: с предельной ясностью восстановив в памяти черты бесконечно дорогого лица, она тяжело задыхалась, заулыбалась, выпрямилась и, кинув ноги недостиранную рубаху мужа и ощущая в горле горячий комок внезапно подступивших сладких рыданий, шепнула:

— Ушел ты в меня, проклятый, на всю жизнь!

Слезы облегчили ее, но после этого голубой утренний мир вокруг нее словно бы поблек. Она вытерла щеки тылом ладони, откинула со влажного лба волосы и потускневшими глазами долго и бездумно следила, как крохотный

<sup>1</sup> Музга — небольшое озерцо, болотце.

серый рыбкин скользят над водой, исчеза в розовом кружеве вспенившегося под ветром тумана.

Выстирав белье, развешала его на кустах, пришла в землянку.

Проснувшийся Христоня сидел около выхода, шевелил узловатыми искривленными пальцами ног, настойчиво заговаривал со Степаном, а тот, лежа на полости, молча курил, упорно не отвечая на христонины вопросы.

— Ты думаешь, стало быть, что красные не будут переправляться на эту сторону? Молчишь? Ну, я молчи. А я думаю, что не иначе будут они силиться на бродях перейти... Беспременно на бродях! Окромя им негде. Или, думаешь, могут конницу вильнь пустить? Чего же ты молчишь, Степан? Тут, стало быть, дело окончательное подходит, а ты лежишь, как чурбак!

Степан даже привскочил, с сердцем ответил:

— И чего ты привязался? Удивительный народ! Пришла жена проведать, так от вас отбою нет... Лезут с глупыми разговорами, не дадут с бабой словом перекинуться!

— Изшел, с кем гутарить... — Недовольный Христоня встал, надел на босые ноги стоптанные чирики, вышел, больно стукнувшись головой о дверную перекладину.

— Не дадут нам поговорить тут, пойдем в лес, — предложил Степан.

И, не дожидаясь согласия, пошел к выходу. Аксинья покорно последовала за ним.

Они вернулись к землянке в полдень. Казаки второго взвода, лежавшие под кустом ольшаника в холодке, завидя их, отложили карты, смолкли, понимающе перемгиваясь, посмеиваясь и притворно вздыхая.

Аксинья прешла мимо них презрительно скривив губы, на ходу поправляя на голове помятый белый с кружевами платок. Ее пропустили молча, но, едва лишь шедший позади Степан поворачивал с казаками, встал и отделился от группы лежавших Аникушка. Он с лицемерным почтением в пояс поклонился Степану, громко сказал:

— С праздничком вас... разговешись!

Степан охотно улыбнулся. Ему приятно было, что казаки видели его с женой возвращающимися из лесу. Это

ведь в какой-то мере способствовало прекращению всяких слухов о том, что они с женой живут плохо... Он даже шевельнул молодецки плечами, самодовольно показывая непросохшую от пота рубаху на спине.

И только после этого поощренные казачки, хохоча, оживленно заговорили:

— А п люта же, братцы, баба! На Степке-то рубаху хоть выжми... Прикипела к лопаткам!

— Выездила она его, в мылу весь...

А молоденький паренек, до самой землянки провожавший Аксинью восхищенным, затуманенным взглядом, потерянно проронил:

— На всем белом свете такой красавицы не найдешь, накажи господь!

На что Аникушка ему резонно заметил:

— А ты пробовал искать-то?

Аксинья, слышавшая непристойный разговор, чуть побледнела, вошла в землянку, гадливо морщась и от воспоминаний о только-что испытанной близости к мужу, и от похабных замечаний его товарищей. С первого взгляда Степан распознал ее настроенье, сказал примиряюще:

— Ты не сердчай. Ксюша, на этих жеребцов. От скуки они.

— Не из кого сердчать-то, — глухо ответила Аксинья, роясь в своей холстинной сумочке, торопливо вынимая из нее все, что привезла мужу. И еще тише: — На самую себя сердчать бы надо, да сердца нет.

Разговор у них как-то не клеился. Минут через десять Аксинья встала. «Сейчас скажу ему, что пойду в Вешки» — подумала она и тотчас вспомнила, что еще не сняла высохшее степаново белье.

Долго чинила созревшие от пота рубахи и пензенки мужа, сидя у входа в землянку, часто поглядывая на свернувшее с пола солнце.

... В этот день она так и не ушла. Не хватило решимости. А наутро, едва взошло солнце, стала собираться Степан пробовал удержать ее, просил погодить еще денек, но она так настойчиво отклоняла его просьбы, что он не стал уговаривать, только спросил перед расставанием:

— В Вешках думаешь жить?

— Пока в Вешках.

— Может, оставалась бы при мне?



— Не гоже мне тут быть... с казаками.

— Оно-то так... — согласился Степан, но попрощался холодно.

Дул сильный юго-восточный ветер. Он летел издалека, приустал за ночь, но к утру все же донес горячий накал закаспийских пустынь и, свалившись на луговую пойму левого бережья, иссушил росу, разметал туман, розовой душиной мглой укутал меловые отроги придонских гор.

Аксинья сняла чиряки и, захватив левой рукой подол юбки (в лесу на траве еще лежала роса), легко шла по лесной заброшенной дороге. Босые ноги приятно холодила влажная земля, а оголенные голые икры и шею ящущими горячими губами целовал сухой.

На открытой поляне, возле цветущего куста шиповника, она присела отдохнуть. Где-то издалека, в пересохшем озере, шелкотали по камышу дикие утки, хриловато кликал подружку селезень. За Доном нечасто, но почти безостановочно, стучали пулеметы, редко бухали орудийные выстрелы. Разрывы снарядов на этой стороне звучали раскатисто, как эхо.

Потом стрельба перемежилась, и мир открылся Аксинье в его сокровенном звучании: трепетно шелестели под ветром зеленые с белым подбоем листья ясеней и липы, в узорной резьбе, дубовые листья; из зарослей молодого осинника плыл слитный гул; далеко-далеко невятно и грустно считала кому-то непрожитые года кукушка; настойчиво спрашивал летавший над озерцом хохлатый чибис: «чьи вы, чьи вы?»; какая-то крохотная серенькая птаха в двух шагах от Аксиньи пила воду из дорожной колен, запрокидывая головку и сладко прижмурив глазок; жужжали бархатисто-пыльные шмели; на венчиках луговых цветов покачивались смуглые дикие пчелы. Они срывались и несли в тенистые прохладные дупла душистую «обножку». С тополиных веток капал сок. А из-под куста боярышника сочился бражный и терпкий душок гниющей прошлогодней листвы.

Ненасытно вдыхала многообразные запахи леса сплевывая неподвижно Аксинья. Исполненный чудесного и многоголосого звучания лес жил могущественной, первородною жизнью. Поемная

почва луга, в избытке насыщенная весенней влагой, выметывала и растила такое богатое разнотравье, что глаза Аксиньи терялись в этом чудеснейшем сплетении цветов и трав.

Улыбаясь и беззвучно шевеля губами, она осторожно перебирала стебельки безмянных голубеньких, скромных цветов, потом перегнулась полнеющим станом, чтобы пошухать, и вдруг уловила томительный и сладостный аромат ландыша. Пошарив руками, она нашла его. Он рос тут же, под непроходимым-тенным кустом. Широкие, некогда зеленые листья все еще ревниво берегли от солнца низкорослый горбатенький стебелек, увенчанный снежно-белыми пониклыми чашечками цветов. Но умирали покрытые росой и желтой ржавчиной листья, да и самого цветка уже коснулся смертный тлен: две нижних чашечки сморщились и почернели, лишь верхушка — вся в искрящихся слезинках росы — вдруг всбухнула под солнцем слезящей, пленительной белизной.

И почему-то за этот короткий миг, когда сквозь слезы рассматривала цветок и вдыхала грустный его запах, вспомнилась Аксинье молодость и вся ее долгая и бедная радостями жизнь. Что ж, стара, видно, стала Аксинья... Станет ли женщина смолodu плакать оттого, что за сердце схватит случайное воспоминание?

Так в слезах и уснула, лежа ничком, схоронив в ладонях заплаканное лицо, прижавшись опухшей и мокрой щекой к скромному платку.

Сильнее дул ветер, клонил на запад вершины тополей и верб. Раскачивался бледный ствол ясеня, окутанный белым кипящим выхрем мечущейся листвы. Ветер снижался, падал на доцветающий куст шиповника, под которым спала Аксинья, и тогда, словно вснугнутой стая сказочных зеленых птиц, с тревожным шелестом взлетали листья, роняя розовые перья-лепестки. Осипавшая призывающими лепестками шиповника, спала Аксинья и не слышала ни угрюмоватого лесного шума, ни возобновившейся за Доном стирелью, не чувствовала, как ставшее в зенит солнце палит ее непокрытую голову. Проснулась, заслышав над собою людскую речь и конское пыхканье, поспешно привстала.

Около нее стоял, держа в поводу

оседланную белоноздрую лошадь, молодой белоусый и белозубый казак. Он широко улыбался, поводил плечами, криплясывал, выговаривал хриповатым, но приятным тенорком слова веселой весны:

Я упала да лежу,  
На все стороны гляжу.  
Туда глядь,  
Сюда глядь,  
Меня некому поднять!  
Оглянулася назад —  
Позади стоит казак...

— Я и сама встану! — улыбнулась Аксинья и прворно вскочила, справляя смятую юбку.

— Здорово живешь, моя любезная! Ноженьки отказались служить аль прилепнулась? — приветствовал ее веселый казак.

— Сон сморил, — смущенно отвечала Аксинья.

— В Вешки идешь?

— В Вешки.

— Хочешь, подвезу?

— На чем же это?

— Ты садись верхи, а я пешком. Дело могоарычевое... — и казачок подметнул с шутливой многозначительностью.

— Нет уж, езжай с богом, а я и сама дойду.

Но казак обнаружил и опыт в любовных делах, и упрямство. Воспользовавшись тем, что Аксинья покрывалась, он кучей, но сильной рукой обнял ее, рывком притянул к себе и хотел поцеловать.

— Не дури! — крикнула Аксинья и с силой ударила его локтем в переносицу.

— Лапушка моя, не дерись! Глянь, какая кругом благодать... Всякая тварь паруется... Давай и мы грех поимеем?... —сузив смеющиеся глаза, щечоча шею Аксиньи усами, шептал казак.

Выставив руки, беззлбно, но сильно упираясь ладонями в бурое, потное лицо казака, Аксинья попробовала освободиться, но он держал ее крепко.

— Дурак! Я большая дурной болезнью... Пусти! — просила она, задыхаясь, думая этой наивной хитростью избавиться от приставаья.

— Это... чья болезнь старше!.. — уже сквозь зубы бормотал казак и вдруг легко приподнял Аксинью.

В миг осознав, что шутка кончилась и дело принимает дурной оборот, она изо всей силы ударила кулаком по коричневому от загара носу и вырвалась из цепко державших ее рук:

— Я — жена Григория Мелехова! Только поюйди, рассуди ты сын!.. Расскажу — так он тебе...

Еще не веря в действие своих слов, Аксинья схватила в руки толстую, сухую палку. Но казак сразу охладел. Вытирая рукавом защитной рубахи кровь с усов, обильно струившуюся из обеих поздрей, он огорченно воскликнул:

— Дура! Ах, дура баба! Чего же ты раньше-то не сказала? Ишь, кровь-то как хлбыщует... Мало мы ее с неприятелем проливаем, а тут ишо свои природные бабы начинают кровь пущать...

Лицо его вмиг стало скучным и nepřиветливым. Пока он умывался, черная вода из придорожной лужицы, Аксинья поспешно свернула с дороги, быстро перешла поляну. Минут через пять казак обогнал ее. Он покосился на нее, молча улыбаясь, деловито поправил на груди винтовочный погон и поскакал шибкой рысью.

## ГЛАВА II

В эту ночь около хутора Малого Громченка полк красноармейцев переправился через Дон на сбитых из досок и бревен плотах.

Громковская сотня была застигнута врасплох, так как большинство казаков в эту ночь гуляло. С вечера к месту расположения сотни пришли проведать служивых жены. Они принесли с собой харчи, в кувшинах и ведрах—самогону. К полуночи все перешлились. В землянках зазвучали песни, пьяный бабий визг, мужской хохот и посвист... Двадцать казаков, бывших в заставе, тоже приняли участие в выпивке, оставив возле пулемета двух пулеметчиков и конский цыбар самогону.

От правого берега Дона в полной тишине отчалили нагруженные красноармейцами плоты. Переправившись, красноармейцы развернулись в цепь, молча прошли к землянкам, расположенным в полусотне сажен от Дона.

Салеры, строившие плоты, быстро гребли, направляясь за новой партией ожидавших погрузки красноармейцев.



На левой стороне минут пять — не слышно было ничего, кроме несвязных казачьих песен, потом стали гулко лопаться ручные гранаты, зарокотал пулемет, разом вспыхнула беспорядочная ружейная стрельба, и далеко покатилось прерывистое: «Ура-а-а! Ура-а-а! Ура-а-а-а!».

Громковская сотня была опрокинута и окончательно уничтожению не подверглась лишь потому, что преследование было невозможно ввиду безпроглядной ночной темноты.

Понесшие незначительный урон громковцы вместе с бабами в паническом беспорядке бежали по луку, в направлении Вешенской. А тем временем с правой стороны плоты перевозили новые партии красноармейцев, и полурота первого батальона 3-го полка с двумя ручными пулеметами уже действовала во фланг Базковской сотне повстанцев.

В образовавшийся прорыв устремились прибывшие подкрепления. Провижение их было крайне затруднено тем, что никто из красноармейцев не знал местности, части не имели проводников и, двигаясь вслепую, все время натывались в ночной темноте на озера и налитые водой котлы глубокие протоки, перейти которые было невозможно.

Руководивший наступлением командир бригады принял решение прекратить преследование до рассвета с тем чтобы к утру подтянуть резервы, сосредоточиться на подступах к Вешенской и после артиллерийской подготовки вести дальнейшее наступление.

Но в Вешенской уже принимались спешные меры для ликвидации прорыва. Дежурный по штабу тотчас же, как только прискакал связной с вестью о переправе красных, послал за Кудиновым и Мелеховым. С хутора Черного, Гороховки в Дубровки вызвали конные сотни Каргинского полка. Общее руководство операцией взял на себя Григорий Мелехов. Он бросил на хутор Еринский триста сабель, с расчетом, чтобы они укрепили левый фланг и помогли Татарской и Лебяженской сотням сдерживать напор противника, в случае если он устремится в обход Вешенской с востока; с запада, вниз по течению Дона, направил в помощь Базковской сотне Вешенскую инокотиную дружину и одну из Чарских пещих сотен; на угро-

жаемых участках расставил восемь пулеметов, а сам с двумя конными сотнями — часов около двух ночи — разместился на опушке Горелого леса, дожидаясь рассвета и намереваясь атаковать красноармейцев в конном строю.

Еще не погасли Стожары, когда Вешенская инокотинская дружина, пробравшаяся по лесу к базковскому колесу, столкнулась с отступавшими базковцами и, приняв их за противника, после короткой перестрелки бежала. Через широкое озеро, отделявшее Вешенскую от луки, дружинники перебирались впасть, в спешке побросав на берег обувь и одежду. Ошибка вскоре обнаружилась, но весть, что красные подходят к Вешенской, распространилась с поразительной быстротой. Из Вешенской на север хлынули ютившиеся в подвалах беженцы, разнося повсюду слух, будто красные переправились через Дон, прорвали фронт и ведут наступление на Вешенскую...

Чуть брезжил рассвет, когда Григорий, получив донесение о бегстве инокотиней дружины, поскакал к Дону. Дружинники выяснили происшедшее недоразумение и уже возвращались к окопам, громко переговариваясь. Григорий подехал к одной группе, насмешливо спросил:

— Много перетопило, когдаплыли через озеро?

Мокрый, на-ходу выжимавший рубаху стрелок смущенно отвечал:

— Шукамиплыли! Где уж там утопать...

— Со всеми конфуз бывает,—рассудительно заговорил второй, шедший в одних исподниках. — А вот наш взводный на самом деле чуть не утоп. Разуваться не схотел, обмотки долго сымать, ну, и поплыла, обмотка возьми да и развяжись в воде. Спутала ему ноги... Уж и орал же он! В Елани, небось, слышно было!

Разыскав командира дружины Крамскова, Григорий приказал ему вывести стрелков на край леса, расположить их так, чтобы в случае надобности можно было обстреливать красноармейские цепи с фланга, а сам поехал к своим сотням.

На полпути ему повстречался штабной ординарец. Он осадил тяжело швыряемого боками коня, облегченно вздохнул.

— Насилу разыскал вас.

— Ты чего?

— Из штаба приказано передать, что Татарская сотня бросила окопы. Опасаются, как бы не окружили их, отступают к пескам... Кудинов, на словах, велел вам зараз же поспешать туда.

С полувзводом казаков, имевших самых резвых лошадей, Григорий лесом выбрался на дорогу. Через двадцать минут скачки они были уже около озера Голого Пльменя. Влево от них по лугу вроссынь бежали охваченные паникой татары. Фронтвики и бывалые казаки пробирались вespеша, держались поближе к озеру, хороясь в прибрежной куге; большинство же, руководимое, как видно, одним желанием — поскорее добраться до леса, — не обращая внимания на редкий пулеметный огонь, валяло напрямик.

— Догоняй их! Пори плетями!.. — скосив глаза от бешенства, крикнул Григорий и первый выпустил коня вдогонку хуторянам.

Сзади всех, прихрамывая, диковиной, танцующей иноходью трусил Христоня. Пакацуе на рыбной ловле он сильно порезал камышом пятку, потому и не мог бежать со всей свойственной его длинным ногам резвостью. Григорий настигал его, высоко подняв над головой плеть. Заслышав конский топот, Христоня оглянулся и заметно наделал ходу.

— Куда?! Стой!.. Стой, говорят тебе!.. — тигетно кричал Григорий.

Но Христоня и не думал останавливаться. Он еще больше убыстрил бег, перейдя на какой-то разпузданный верблюжий галоп.

Тогда взбешенный Григорий прохрипел страшное матерное ругательство, гикнул на коня и, поровнявшись, с наслаждением рубнул плетью по мокрой от пота христоиной спине. Христоня взвился от удара, сделал чудовищный скачок в сторону, нечто вроде зачячей «скачки», сел на землю и начал неторопливо и тщательно ощупывать спину.

Казаки сопроводившие Григория, заскакивали наперед безвавшим, останавливали их, но плетей в ход не пускали.

— Пори их!.. Пори!.. — потрясая своей намятой плетью, хрипло кричал Григорий. Конь вертелся под ним, становился вдыбки, никак не хотел идти вперед. С трудом направив его, Григо-

рий, поскакал к бегущим вперед. Наскаку он мельком видел остановившегося возле куста, молчаливо улыбавшегося Степана Астахова: видел, как Анякушка, приседая от смеха и сложив ладони рупором, пронзительным, бабым голосом визжал:

— Братцы! Спасайся, кто может! Красные!.. Ату их!.. Берн!..

Григорий нагонял еще одного хуторянина, одетого в ватную куртку, божавшего неумоимо и резво. Сутуловатая фигура его была странно знакома, но распознавать было некогда, и Григорий еще издали заорал:

— Стой, сукин сын!.. Стой, зарублю!..

И вдруг человек в ватной куртке замедлил бег, остановился, и, когда стал поворачиваться, — характерным, знакомым с детства жестом выказывая высокую степень возбуждения, — пораженный Григорий, еще не видя обличья, угадал отца.

Щеки Пантелея Прокофьевича передегивали судороги:

— Это родной отец-то — сукин сын? Это отца грозить срубить? — высоким, срывающимся Фальцетом закричал он.

Глаза его дымнились такой знакомой неумной свирепостью, что возмущение Григория разом остыло и он, с силой придержав коня, крикнул:

— Не угадал в спину! Чего орешь, батя?

— Как так, не угадал? Отца и не угадал?!

Столь недено и неуместно было проявление этой стариковской обидчивости, что Григорий, уже смеясь, поровнялся с отцом, примиряюще сказал:

— Батя, не сердчай! На тебе сюртук какой-то неизвестный мне, окромя этого, ты летел, как призовая лошадь, в даже хромота твоя куда делась! Как тебя угадать-то?

И опять, как бывало это раньше, всегда, в домашнем быту, Пантелей Прокофьевич утих и, все еще прерывисто дыша, но помирнее, согласился:

— Сюртук на мне, верно говорюшь, новый, выменял на шубу, — шубу тащить тяжело, — а хромать... Когда ж тут хромать? Тут, братец ты мой, уж не до хромоты!.. Смерть в глазах, а ты про ногу гутаришь...

— Ну, до смерти ишо далеко. Поворачивай, батя! Патроны-то не раскидал?



— Куда ж поворачивать?— возмутился старик.

Но тут уж Григорий повысил голос; отчеканивая каждое слово, скомандовал:

— Приказываю вернуться! За послушание командира в боевой обстановке, знаешь, что по уставу полагается?

Сказанное возымело действие: Пантелей Прокофьевич поправил на спине винтовку, неохотно побрел назад. Поровнявшись с одним из стариков, еще медленнее шагавшим обратно, со вздохом сказал:

— Вот они какие пошли сынки-то! Нет того, чтобы уважить родителю или, к примеру говоря, ослобонить от бою, а он его же норовит... в это самое направить... да-а-а... Нет, покойничек Петро, царство ему небесное, куда лучше был! Ровная у него душа была, а этот сумарок, Гришка-то, хотя он и командир дивизии, заслуженный, так и далее, а не такой. Весь на кочках, и ни одну нельзя тронуть. Этот при моей старости на печку не иначе как шилом будет подсаживать!

Татарцев образумили без особого труда...

Спустя немного Григорий собрал всю сотню, увел ее под прикрытие; не слезая с седла коротко пояснил:

— Красные переправились и сплутуются запять Вешки. Возле Дона зараз начался бой. Дело не путейное, и бегать зря не советую. Ежели ишо раз побегите — прикажу коннице, какая стоит в Еринском, рубить вас, как изменников! — Григорий оглядел разношерстно одетую толпу хуторян, закончил с нескрываемым презрением: — Много у вас в сотне всякой сволочи набралось, она и разводит страхи. Побегли, в штаны напустили, вожки! А ишо казаками кличетесь! Особенно вы, деды, глядите у меня! Взались воевать, так нечего теперь головы промеж ног хоронить! Зараз же, по-взводно, рысью вон к этому рубежу и от кустов — в Дону. По-над Доном — до Семеновской сотни. Вместе с нею вдарите красным во фланг. Марш! Живо!

Татарцы молча выслушали и так же молча направились к кустам. Деды удрученно кряхтели, оглядывались на шибко поскакавшего Григория и сопустововавших ему казаков. Старик Обилов, шагавший в ногу с Пантелеем Прокофьевичем, восхищенно сказал:

— Ну, и геройским сынгом сподобил тебя господь! Истый орел! Как он Христюню-то потянул вдоль спины! Враз привел все в порядок!

И, польщенный в отцовских чувствах Пантелей Прокофьевич охотно согласился:

— И не говори! Таких сынов по свету поискать! Полный баит крестов, это как, шутка? Вот Петро, покойничек, царство ему небесное, хотя он и родной сын был, и первенький, а все не такой! Уж даже смиренный был, какой-то, чума его знает, недоделанный. Душа у него под исподом бабья была! А этот — весь в меня! Аджик превзошел лихостью!

Григорий со своим полувзводом подбирался к Калмыцкому броду. Они уже считали себя в безопасности, достигнув леса, но их увидели с наблюдательного пункта, с той стороны Дона. Оружейный взвод повел обстрел. Первый снаряд пролетел над верхинами верб, чмокнулся где-то в болотистой чаще, не разорвавшись. А второй ударил неподалеку от дороги в обнаженные корневища старого осокоря, брызнул огнем, окатил казаков гулом, комьями жирной земли и крошевом трухлявого дерева.

Оглушенный Григорий инстинктивно поднес к глазам руку, пригнулся к луке, ощутив глухой и мокрый шлепок, как бы по крупу коня.

Казачьи кони от потрясения землю взрыва будто по команде присели и ринулись вперед; под Григорием конь тяжело поднялся на дыбы, пенялся, начал медленно валиться набок. Григорий поспешно соскочил с седла, взял коня под узды. Пролетело еще два снаряда, а потом хорошая тишина стала на искрайке леса. Дожили на траву пороховой дымки; пахло свежее взвернутой землей, щепкам, полусгнившим деревом; далеко в чаще встревоженно стрекотали сороки.

Конь Григория всхрапывал и подгибал трясущиеся задние ноги. Желтый навес его зубов был мучительно оскален, шея вытянута. На бархатистом сером храпе пузырилась розовая пена. Крупная дрожь билась его тело, пол гнелым подшерстком волнами катились, судороги.

— Готов кормлен? — громко спросил подсакававший казак.

Григорий смотрел в тускнеющие конские глаза, не отвечая. Он даже не глянул на рану и только чуть посторонился, когда конь как-то неуверенно затроился, выпрямился и вдруг упал на колени, низко склонив голову, словно прося у хозяина в чем-то прощения. На бок лег он с глухим стоном, попытался поднять голову, но, видно, покидали его последние силы: дрожь становилась все реже, мертвели глаза, на щею выступила испарина.

Только в щетках, где-то около са-мых стаканов копыт, еще бились последние живчики. Чуть вибрировало потерятое крыло седла.

Григорий искоса глянул на левый пах, увидел развороченную глубокую рану, теплую, черную кровь, бившую из нее родниками, сказал спешившемуся казаку, заикаясь и не вытирая слез:

— Стреляй с одной пули! — И передал ему свой маузер.

Пересев на казачью лошадь, поскакал к месту, где оставил свои сотни. Там уже возгорался бой.

С рассветом красноармейцы двинулись в наступление. В слонстом тумане поднялись их цепи, молча пошли по направлению к Вешенской. На правом фланге, около налитой водой ложбины, на минуту замешкались, потом побрели по грудь в воде, высоко поднимая патронные подсумки и винтовки. Спустя немного с обдонской горы согласно и величаво загремели четыре батареи. Как только по лесу веером начали ложиться снаряды, повстанцы открыли огонь. Красноармейцы уже не шли, а бежали с винтовками наперевес. Впереди них на полверсты сухо лопалась по лесу шрапнель, валились расщепленные снарядами деревья, белесыми клубами поднимался дым. Короткими очередями заработали два казачьих пулемета. В первой цепи начали падать красноармейцы. Все чаще то тут, то там по цепи вырывали пули людей, опоясанных скатками, кидали их ничком или навзничь, но остальные не ложились, и все короче становилось расстояние, отделявшее их от леса.

Впереди второй цепи, чуть клонясь вперед, подоткнув полы шинели, легко и размашисто бежал высокий с непокрытой головой командир. Цепь на секунду замедлила движение, но командир, на-бегу повернувшись, что-то крикнул, и люди снова перешли на побег-

ку, снова все яростнее стало нарастать хриповатое и страшное «ура-а-а».

Тогда заговорили все казачьи пулеметы, на опушках леса жарко, безумолку зачастили винтовочные выстрелы... Откуда-то сзади Григория, стоявшего с сотнями на выезде из леса, длинными очередями начал бить станковый пулемет Базковской сотни. Цепи дрогнули, залегли, начали отстреливаться. Часа полтора длился бой, но огонь пристрелявшихся повстанцев был так настилен, что вторая цепь, не выдержав, поднялась, смешалась с подходившей перебежками третьей цепью... Вскоре дуг был усеян беспорядочно бежавшими назад красноармейцами. И тогда Григорий на-рыси вывел свои сотни из леса, построил их и кинул в преследование. Дорогу к плотам отрезала отступавшим пешая полым карьером Чирская сотня. У придонского леса, возле самого берега, завязался рукопашный бой. К плотам прорвалась только часть красноармейцев. Они доставив загрузились плоты, отчалили. Остальные бились, вплотную прижатые к Дону.

Григорий спешил свои сотни, приказал ководам не выезжать из леса, повел казаков к берегу. Перебегая от дерева к дереву, казаки все ближе подвигались к Дону. Человек полтора года красноармейцев ручными гранатами и пулеметным огнем отбросили наседавшую повстанческую пехоту. Плоты было снова направилась к левому берегу, но базковцы ружейным огнем перебили почти всех гребцов. Участь оставшихся на этой стороне была предешена. Слабые духом, кинув винтовки, пытались перебраться вплавь. Их расстреливали залегшие возле прорвы повстанцы. Много красноармейцев потонуло, но будучи в силах пересечь Дон на быстрине. Только двое перебрались благополучно: один, в полосатой матросской тельняшке, — как видно, искусный пловец, — вниз головой кинулся с обрывистого берега, погрузился в воду и вынырнул чуть ли не на середине Дона.

Пряча за разлапистой вербой, Григорий видел, как широкими саженками матрос доспевал к той стороне. И еще один переплыл благополучно. Он расстрелял все патроны, стоя по грудь в воде; что-то крикнул, грозя кулаком в сторону казаков, и пошел отмахивать навскось. Вокруг него чмокали пули,



но ни одна не тронула счастливица. Там, где было когда-то скотинье стойло, он выбрел из воды, отряхнулся, неспеша стал забираться по яру к дворам.

Оставшиеся возле Дона залегли за песчаным бугром. Их пулемет строчил безостановочно до тех пор, пока не закипела в кожухе вода.

— За мной! — негромко командовал Григорий, как только пулемет умолк, и пошел к бугру, вынув из ножен шашку.

Сзади, тяжело дыша, затоптали казаки.

До красноармейцев оставалось не более полусотни сажен. После трех залпов из-за песчаного бугра поднялся во весь рост высокий смуглолицый и черноусый командир. Его поддерживала под руку одетая в кожаную куртку женщина. Командир был рапен. Волоча перебитую ногу, он сошел с бугра, поправил на руке винтовку с примкнутым штыком, хрипло командовал:

— Товарищи! Вперед! Бей беляков!

Кучка храбрецов с пением «Интернационала» пошла в контратаку. Из смерти.

Сто шестнадцать павших последними возле Дона были все коммунисты Интернациональной роты.

### ГЛАВА III

Поздно ночью Григорий пришел из штаба на квартиру. Прохор Зыков ожидал его у калитки.

— Про Аксинью не слышно? — спросил Григорий с деланным равнодушием в голосе.

— Нет. Запропала где-то, — ответил Прохор, позевывая, и тотчас же со страхом подумал: «Не дай бог, опять заставит ее разыскивать... Вот скочетались черти на мою голову!».

— Принеси умыться. Потный я весь. Ну, живо! — уже раздраженно сказал Григорий.

Прохор сходил в хату за водой, долго лил из кружки в сложенные ковшом ладони Григория. Тот мылся с видимым наслаждением. Снял провонявшую потом гимнастерку, попросил:

— Слей на спину.

От холодной воды, обжегшей потную спину, ахнул, зафыркал, долго и крепко тер натруженные ремнями плечи и волосатую грудь. Вытираясь чистой по-

понкой, уже повеселевшим голосом приказал Прохору:

— Бояня мне утром приведет — прими его, вычисти, добудь зерна. Мелня не буди, пока сам проснусь. Только если из штаба пришлют — разбудишь. Понятно?

Ушел под навес сарая. Лег на повозке и тотчас же окунулся в беспросыпный сон. На заре зяб, поджимал ноги, натягивал влажную от росы шинель, а после того, как взошло солнце, снова задремал и проснулся часов около семи от полновзвучного оружейного выстрела. Над станцией в голубом и чистом небе кружил матово поблескивающий аэроплан. По нем били с той стороны Дона из орудий и пулеметов.

— А ить могут подшибить его! — проговорил Прохор, яростно охаживая щеткой привязанного к коновязи выскокого рыжего жеребца. — Гляди, Пантелевич, какого чорта под тебя прислали!

Григорий бегло осмотрел жеребца, довольный, спросил:

— Не поглядел я: сколько ему годов? Шестой, должно?

— Шестой.

— Ох, хорош! Ножки под ним точеные и все в чулках. Нарядный конишка. Ну, седлай его, поеду погляжу, кто это прилетел.

— Уж хорош — слов нету. Как-то он будет на побегу. Но по всем приметам, должен бы быть дуже резвым, — бормотал Прохор, затягивая подруги.

Еще одно дымчато-белое облачко шрапнельного разрыва вспыхнуло около аэроплана.

Выбрав место для посадки, летчик резво пошел на сплужение. Григорий выехал из калитки, поскакал к станичной конюшне, за которой опустился аэроплан.

В конюшне для станичных жеребцов — длинном каменном здании, стоявшем на краю станицы, — было битком набито более восьмисот пленных красноармейцев. Стража не выпускала их оправляться, параш в помещении не было. Тяжелый густой запах человеческих испражнений стеною стоял около конюшни. Из-под дверей стекали зловонные потоки мочи; над ними тучами роились изумрудные мухи...

День и ночь в этой тюрьме для обреченных звучали глухие стоны. Сот-

ни пленных умирали от истощения и свирепствовавших среди них тифа и дизентерии. Умерших иногда не убирали по суткам.

Григорий, об'ехав конюшню, только-что хотел спешиться, как снова глухо ударило орудие с той стороны Дона. Скрежет приближающегося снаряда вырост и сомкнулся с тяжким гулом разрыва.

Пилот и прилетевший с ним офицер вылезли было из кабинки, их окружили казаки. Тотчас же на горе заговорили все орудия батареи. Снаряды стали аккуратно ложиться вокруг конюшни.

Пилот быстро влез в кабинку, но мотор отказался работать.

— Кати на руках! — зычно скандовал казакам прилетевший из-за Дона офицер и первый взялся за крыло.

Покачиваясь, аэроплан легко двинулся к соснам. Батарея провожала его беглым огнем. Один из снарядов попал в набитую пленными конюшню. В густом дыму, в клубях поднявшейся известняковой пыли обрушился угол. Конюшня дрогнула от животного рева, окваченных ужасом красноармейцев. В образовавшийся пролом выскочило трое пленных, сбегавшие казаки изрешетили их выстрелами в упор.

Григорий отскочил в сторону.

— Убьют! Езжай в сосны! — крикнул пробежавший мимо казак с испуганным лицом и вытаращенными белесыми глазами.

«А и в самом деле могут напнуть. Чем черт не шутит» — подумал Григорий и неспеша повернул домой.

В этот день Кудиннов, обойдя приглашением Мелехова, созвал в штабе строго секретное совещание. Прилетевший офицер Донской армии коротко сообщил, что со дня на день красный фронт будет прорван частями ударной группы, сконцентрированной возле станции Каменской, и конная дивизия Донской армии под командой генерала Секретева двинется на соединение с повстанцами. Офицер предложил немедленно подготовить средства переправы, чтобы по соединении с дивизией Секретева тотчас же перебросить конные повстанческие полки на правую сторону Дона; посоветовал стянуть резервные части поближе к Дону и уже в конце совещания, после того, как был разработан план

переправы и движения частей преследования, спросил:

— А почему у вас пленные находятся в Вешенской?

— Больше их негде держать, в хуторах нет помешений, — ответил кто-то из штабных.

Офицер тщательно вытер носовым платком гладко выбритую вспотевшую голову, расстегнул ворот защитного кителя, со вздохом сказал:

— Направьте их в Казанскую.

Кудиннов удивленно поднял брови:

— А потом?

— А оттуда — в Вешенскую... — несхлестительно пояснил офицер, щуря холодные голубые глаза. И, плотнее сжав губы, жестко закончил: — Я не знаю, господа, почему вы с ними перемонитесь? Время сейчас как будто не такое. Эту сволочь, являющуюся рассадником всяких болезней как физических, так и социальных, надо истребить. Иначе придется с ними нечего! Я на вашем месте поступил бы именно так.

На другой день в пески вывели первую партию пленных в двести человек. Изможденные, пессимистичные, еле передвигающие ноги красноармейцы шли, как тени. Конный конвой плотно окружал их нестройно шагавшую толпу... На десятиверстном перегоне Вешенская — Дубровка двести человек были вырублены до одного. Вторую партию выгнали перед вечером. Конвою было строго приказано: отстающих только рубить, а стрелять лишь в крайнем случае. Из полтора часа человек восемнадцать дошли до Казанской... Один из них, молодой цыгановатый красноармеец, в пути сошел с ума. Всю дорогу он пел, плясал и плакал, прижимая к сердцу пучок сорванного душистого чеборца. Он часто падал лицом в расклеванный песок, ветер трепал грязные лохмотья бязевой рубашки, и тогда конвоирам были видны его туго обтянутая кожей костистая спина и черные порежавшие подошвы расклеванных ног. Его поднимали, брызгали на него водой из фляжек, и он открывал черные блестящие безумием глаза, тихо смеялся и, раскачиваясь, снова шел.

Сердобольные бабы на одном из хуторов окружили конвойных, и одна величественная и дородная старуха строго сказала начальнику конвоя:

— Ты ослобони вот этого чернявенького. Умом он тронулся, к богу стал

ближе, и вам великий грех будет, коли тако-го-то загубите.

Начальник конвоя — бравый рыжеусый подхорунжий — усмехнулся:

— Мы, бабуня, лишнего греха не боимся на душу принимать. Все одно из нас праведников не получатся!

— А ты ослобони, не противься,— настойчиво просила старуха.— Смерть-то над каждым из вас крылом машет...

Бабы дружно поддержали ее, и подхорунжий согласился:

— Мне не жалко, возьмите его. Он теперь не вредный. А за вашу доброту—молочка нам неснятого по корчажке на брата.

Старуха увела сумасшедшего к себе в хатенку, накормила его, постелила ему в горнице. Он проспал сутки напролет, а потом проснулся, встал спиной к окошку, тихо зашел. Старуха вошла в горенку, присела на сундук, подперла щеку ладонью, долго и зорко смотрела на худощавое лицо паренька, потом басовито сказала:

— Ваши-то, слышать, недалеко...

Сумасшедший на какую-то секунду смолк и сейчас же снова запел, но уже тише.

Тогда старуха строго заговорила:

— Ты, болезный мой, песенки брось играть, не прикидывайся и голову мне не морочь. Я жизнью прожила, и меня не обманешь, не дурочка! Умом ты здоровый, знаю... Слышала, как ты во сне гутарил, да таково складно!

Красноармеец пел, но все тише и тише. Старуха продолжала:

— Ты меня не боись, я тебе не лиха желаю. У меня двух сынков в германскую войну сразили, а меньший в эту войну в Черкасском помер. А ить я их всех под сердцем выносила... Вспоила, вскармила, ночей смолоду не спаяла... Вот через это и жалею я всех молодых юношев, дакие в войсках служат, на войне воюют... — Она помолчала немного.

Смолк и красноармеец. Он закрыл глаза, и чуть заметный румянец проступил на его смуглых скулах, на тонкой, худой шее напряженно запульсировала голубая жилка.

С минуту стоял он, храня выжидающее молчание, затем приоткрыл черные глаза. Взгляд их был омыслен и полыхал таким нетерпеливым ожиданием, что старуха чуть приметно улыбнулась:

— Дорогу на Шумилинскую знаешь?

— Нет, бабуня,—чуть шевеля губами, ответил красноармеец.

— А как же ты пойдешь?

— Не знаю...

— То-то и оно! Что же мне с тобой теперича делать? — Старуха долго выжидала ответа, потом спросила:

— А ходить-то ты можешь?

— Пойду как-нибудь.

— Зараз тебе как-нибудь нельзя ходить. Надо иттить ночью и пагать пошибче, ох, пошибче! Передний ишо, а тогда дам я тебе харчей и в поводьри внучонка, чтоб он дорогу указывал, и— в час добрый! Ваши-то, красивые, за Шумилинской стоят, верно знаю. Вот ты к ним и припожалуешь. А шляхом вам нельзя иттить, надо—стелью, логами да лесамп, бездорожно, а то казаки нерестренут и беды наберетесь. Так-то, касатик мой!

На другой день, как только смерклось, старуха перекрестила собравшихся в дорогу своего двенадцатилетнего внучонка и одетого в казачий зипун красноармейца, сурово сказала:

— Идите с богом. Да глядите, нашим служивым не попадайтесь!.. Не за что, касатик, не за что! Не мне кланяться—богу святому! Я не одна такал-то, все мы матери добрые... Жалко ить вас, окаянных, до смерти! Ну, ну, ступайте, обороня вас господь!—И захлопнула окрашенную желтой глиной покосившуюся дверь хатенки.

## ГЛАВА IV

Каждый день Ильинична просыпалась чуть свет, доила корову и начинала стряпаться. Печь в доме не топилась, а разводила огонь в ледней кухне, готовила обед и снова уходила в дом к детинкам.

Наталья медленно оправлялась после тифа. На второй день троицы она впервые встала с постели, проицлась по комнатам, с трудом переставляя иссохшие от худобы ноги, долго искала в головах у детиншек и даже попробовала, сидя на табуретке, стирать детскую одежку.

И все время с исхудавшего лица ее не сходила улыбка, на ввалившихся щеках розовел румянец, а ставшие от болезни огромными глаза лучились такой сияющей, трепетной теплотой, как будто после родов.

— Полюшка, расхороша моя! Не забивал тебя Мишатка, как я хворала? — спрашивала она слабым голосом, протяжно и неуверенно выговаривая каждое слово, глядя рукою черноволосую головку дочери.

— Нет, маманя! Мишка толечко раз меня побил, а то мы с ним хорошо игрались, — шопотом отвечала девочка и крепко прижималась лицом к материнским коленям.

— А бабушка жалела вас? — улыбаясь, допытывалась Наталья.

— Дюже жалела!

— А чужие люди, красные солдаты вас не трогали?

— Они у нас телушку зарезали, проклятые! — баском ответил разительно похожий на отца Мишатка.

— Ругаться нельзя, Мишенька. Ишь ты, хозяин какой! Больших нельзя черным словом обзывать! — назидательно сказала Наталья, подавляя улыбку.

— Это бабка их так обзывала, спроси хоть у Польки, — угромо оправдывался маленький Мелехов.

— Верно, маманя, и курей они у нас всех дочиста порезали!

Полюшка оживилась: блестя черными глазками, стала рассказывать, как приходили на баз красноармейцы, как они ловили кур и уток, как просила бабка Ильинична оставить на завод желтого петуха с обмороженным гребнем и как ей веселый красноармеец ответил, размахивая петухом: «Этот петух, бабка, кукарекал против советской власти, и мы его присудили за это к смертной казни! Хоть не проси, сварим мы из него лапши, а тебе взамен старые валенки оставим».

И Полюшка развела руками, показывая:

— Во какие валенки оставил! Большие-разбольшие и все на дырках!

Наталья, смеясь и плача, ласкала детешек и, не сводя с дочери восхищенных глаз, радостно шептала:

— Ах ты, моя Григорьевна! Истованная Григорьевна! Вся-то ты, до капельки, на своего батю похожа.

— А я похож? — ревниво спросил Мишатка и несмело прислонился к матери.

— И ты похож. Гляди только: когда вырастешь — не будь таким непутевым, как твой батя...

— А он непутевый? А чем он непутевый? — заинтересовалась Полюшка.

На лицо Натальи тенью легла грусть. Наталья промолчала и с трудом поднялась со скамьи.

Присутствовавшая при разговоре Ильинична недовольно отвернулась. А Наталья, уже не вслушиваясь в детский говор, стоя у окна, долго глядела на закрытые ставни астаховского куреня, вздыхала и взволнованно теребила оборку своей старенькой, вылинявшей кофточки...

На другой день она проснулась чуть свет, встала тихонько, чтобы не разбудить детей, — умылась, достала из сундука чистую юбку, кофточку и белый зонтовый платок. Она заметно волнувалась, и по тому, как она одевалась, как хранила грустное и строгое молчание, — Ильинична догадалась, что сноха пойдет на могилку деда Гришаки.

— Куда это собралась? — нарочно спросила Ильинична, чтобы убедиться в верности своих предположений.

— Пойду дедушку провожаю, — не поднимая головы, боясь расплакаться, обронила Наталья.

Она уже знала о смерти деда Гришаки и о том, что Кошевой сжег их дом и подворье.

— Слабая ты, не дойдешь.

— С передышками дотяну. Детей покормите, мамаша, а то я там, может, долго задержусь.

— И кто его знает — чего ты там будешь задерживаться! Ишо в недобрый час найдешь на этих чертей, прости бог. Не ходила бы, Натальяшка!

— Нет, я уж пойду, — Наталья нахмурилась, взялась за дверную ручку.

— Ну, погоди, чего ж ты голодная-то пойдешь? Сем-ка я молочка кислого положу?

— Нет, мамаша, спаси Христос, не хочу... Прийду, тогда поем.

Видя, что сноха твердо решила идти, Ильинична посоветовала:

— Иди лучше над Доном, огородами. Там тебя не так видно будет.

Над Доном наволочью висел туман. Солнце еще не всходило, но на востоке багряным заревом полыхала закрытая тополями кромка неба, и из-под тучи уже тянуло знобким предутренним ветерком.

Перешагнув через поваленный, опутанный повилкой плетень, Наталья вошла в свой сад. Прижимая руки к



сердцу, остановилась возле свежего холмика земли.

Сад буйно зарастал крапивою и бурьяном. Пахло мокрыми от росы допухами, влажной землей, туманом. На старой, засохшей после пожара яблоне одиноко сидел нахохлившийся скворец. Могильная насыпь осела. Кое-где между комьями сохшей глины уже показались зеленые жалыца выметавшейся травы.

Потрясенная нахлынувшими воспоминаниями, Наталья молча опустилась на колени, припала лицом к неласковой, извечно пахнувшей смертным тленом земле...

Через час она, крадучись, вышла из сада, в последний раз со стиснутым болью сердцем оглянулась на место, где некогда отцвела ее юность. — пустынный двор угрюмо чернел обуглившимися сохами сараев, обгорелыми развалинами печей и фундамента, — и тихо пошла по проулку.

С каждым днем Наталья поправлялась все больше. Крепли ноги, округлялись плечи, здоровой полнотой наливалось тело. Вскоре стала помогать свеярови в стирке. Возясь у нечи, они подолгу разговаривали.

Однажды утром Наталья с сердцем сказала:

— И когда же это кончится? Вся душа изболелась!

— Вот поглядишь, скоро переправят наши из-за Дона, — уверенно отозвалась Ильинична.

— А почему вы знаете, мамаша?

— У меня сердце чует.

— Лишь бы наши казаки были пелье. Не дай бог — убьют кого или поранят. Гриша, ить он отчаянный, — вздохнула Наталья.

— Небось, ничего им не сделается, бог не без милости. Старик-то наш судился опять переправиться, проведать нас, да, должно, напужался. Кабы приехал — и ты бы с ним переправилась в своем от греха. Наши-то, хуторные, супротив хutora лежат, обороняются. Надьсь, когда ты ино лежала без памяти, пошла я на заре к Дону, зачерпнула воды и слышу—из-за Дона Аннушка шумит: «Здорово, бабушка! Поклон от старика!».

— А Гриша где?—осторожно спросила Наталья.

— Он ими всеми командует издаля,—простоудшно отвечала Ильинична.

— Откуда ж он командует?

— Должно, из Вешек. Больше неоткуда.

Наталья надолго умолкла. Ильинична глянула в ее сторону, испуганно спросила:

— Да ты чего это? Чего кричишь-то?

Не отвечая, Наталья прижимала к лицу грязную завеску, тихо всхлипывала.

— Не кричи, Натальюшка, слезой тут не поможешь. Бог даст—живых-здоровых увидим. Ты сама-то берегись, зря не выходи на баз, а то увидят эти анчихристы, воззрятся...

В кухне стало темнее. Снаружи окно заслонил чья-то фигура. Ильинична повернулась к окну и ахнула:

— Они! Красные! Натальюшка! Скорей ложись на кровать, прикинись, будто ты хвораешь... Как бы греха... Вот дерюжкой укройся!

Только-что Наталья, дрожа от страха, упала на кровать, как звякнула щеколда и в стирку, пригнувшись, вошел высокий красноармеец. Детишки вцепились в подол побелевшей Ильиничны. А та, как стояла возле печи, так и присела на лавку, опрокинув корчажку с топленным молоком.

Красноармеец быстро оглядел кухню, громко сказал:

— Не пугайтесь. Не с'ем. Здравствуйте!

Наталья, притворно стоная, с головой укрылась дерюгой, а Минатка исполобя вметрелся в гостя и обрадованно доложил:

— Бабуня! Вот этот самый и зарезал нашего кочета! Помнишь?

Красноармеец снял защитного цвета фуражку, поцокал языком, улыбнулся:

— Угадал шельмец! И охота тебе про этого петуха вспоминать? Однако, хозяйонка, вот какое дело: не можешь ли ты вынечь нам хлеба? Мука у нас есть.

— Можно... Что т... Испеку...—торопливо заговорила Ильинична, не глядя на гостя, стирая с лавки пропитое молоко.

А красноармеец присел около двери, вытащил кисет из кармана и, сворачивая папироску, затеял разговор:

— К ночи выпечешь?

— Можно и к ночи, ежели вам спешно.

— На войне, бабушка, завсегда спешно. А за петушка вы не обижайтесь.

— Да мы ничего! — испугалась Ильинична. — Это дите глупое.. Вспомнит же что не надо!

— Однако скупой ты, паренек.. — добродушно улыбался словоохотливый гость, обращаясь к Мишатке. — Ну чего ты таким волчком смотришь? Подойди сюда, потолкуем всласть про твоего петуха.

— Подойди, болезный! — шопотом просила Ильинична, толкая коленом внука.

Но тот оторвался от бабушкиного подола и поровня уже выскользнуть из кухни, боком-боком пробираясь к дверям. Длинной рукой красноармеец притянул его к себе, спросил:

— Сердишься, что ли?

— Нет, — шопотком отозвался Мишатка.

— Ну, вот и хорошо. Не в петухе счастье. Отец-то твой где? За Доном?

— За Доном.

— Воюет, значит, с нами?

Подкупленный ласковым обращением, Мишатка охотно сообщил:

— Он всеми казаками командует!

— Ох, врешь, малый!

— Спроси вот хучь у бабки.

А бабка только руками всплеснула и застонала, окончательно сокрушенная разговорчивостью внука.

— Командует всеми? — переспросил озадаченный красноармеец.

— А может, и не всеми. — уже неуверенно отвечал Мишатка, сбитый с толку отчаянными взглядами бабки.

Красноармеец помолчал пемного, потом, искоса поглядывая на Наталью, спросил:

— Молодаяк болает, что ли?

— Тиф у нее, — неохотно ответила Ильинична.

Двое красноармейцев внесли в кухню мешок с мукой, поставили его около порога.

— Затопляй, хозяйка, печь! — сказал один из них. — К вечеру придем за хлебами. Да смотри, чтобы прирек был настоящий, а то худо тебе будет!

— Как умею, так и испеку, — ответила Ильинична, донельзя обрадованная тем, что вновь пришедшие поме-

шали продолжению опасного разговора и Мишатка выбежал из кухни.

Один спросил, кивком головы указывая на Наталью:

— Тифозная?

— Да.

— Ну, счастье ее! Была бы здорова, мы бы ее распатронили.. — И, улыбаясь, вышел из кухни.

Красноармейцы поговорили о чем-то вполголоса, покинули кухню. Не успел последний из них свернуть за угол — из-за Дона защелкали винтовочные выстрелы.

Красноармейцы, согнувшись, подбежали к полуразваленной каменной огороже, залегли за ней, и дружно клацая затворами, стали отстреливаться.

Испуганная Ильинична бросилась во двор искать Мишатку. Из-за огорожи ее окликнули:

— Эй, бабка! Иди в дом! Убьют!

— Парнишка наш на базу! Мишенька! Родименький! — со слезами в голосе звала старуха.

Она выбежала на середину двора, и тотчас же выстрелы из-за Дона прекратились. Очевидно, находившиеся на той стороне казаки увидели ее. Как только она схватила на руки прибежавшего Мишатку и ушла с ним в кухню, стрельба снова возобновилась и продолжалась до тех пор, пока красноармейцы не покинули мелеховский двор.

Ильинична, шопотом переговариваясь с Натальей, поставила тесто, но выпечь хлеб ей так и не пришлось.

К полудню находившиеся в хуторе красноармейцы пулеметных застав вдруг спешно покинули дворы, по ярам двинулись на гору, таща за собою пулеметы.

Рота, занимавшая окопы на горе, построилась, быстрым маршем пошла к Гетманскому шляху.

Большая тишина как-то сразу распростерлась надо всем Облонецм. Умолкли орудия и пулеметы. По дорогам, по затравленным летникам, от хуторов к Гетманскому шляху нескончаемо потянулись обозы, батарей; колоннами пошла пехота и конница.

Ильинична, смотревшая из окна, как по меловым мысам карабкаются на гору отставшие красноармейцы, вытерла о завеску руки, с чувством перекрестилась:

— Привел-то господь. Натальюшка! Уходят красивые!

— Ох, маманя, это они из хутора на гору в окопы идут, а к вечеру вернутся.

— А чего же они бегом поспешают? Пихнули их наши! Отступают проклятые! Бегут анчихристы!.. — ликовала Ильинична, а сама снова взялась вымешивать тесто.

Наталья вышла из сенцев, стала у порога и, приложив ладонь к глазам, долго глядела на залитую солнечным светом меловую гору, на выгоревшие бугры отроги.

Из-за горы в предгрозовом величавом безмолвии вставали вершины белых клубящихся туч. Жарко калило землю полуденное солнце. На выгоне свистели суслики, и тихий, грустноватый их посыл странно сочетался с жизнерадостным пеннем жаворонков. Так мила сердцу Наталья была установившаяся после оружейного гула тишина, что она, не шевелясь, с жадностью вслушивалась и в бескитростные песни жаворонков, и в скрип колодезного журавля, и в шелест напитанного полынной горечью ветра.

Он был горек и духовит, этот крылатый, степной, восточный ветер. Он дышал жаром раскаленного чернозема, пьянящими запахами всех полегших под солнцем трав, но уже чувствовалось приближение дождя: тянуло пресной влагой от Дона, почти касаясь земли раздвоенными острыми крыль, чертили воздух ласточки, и далеко-далеко в синем поднебесье парил, уходя от подступавшей грозы, степной подорлик.

Наталья прошла по двору. За каменной огороджей на помятой траве лежали залотистые груды винтовочных гильз. Стекла и выбеленные стены дома зияли пулевыми пробитыми. Одна из уцелевших кур завидев Наталью, с криком взлетела на крышу амбара.

Ласковая тишина нелогично стояла над хутором. Подул ветер, захлопали в погнинутых домах распахнутые ставни и двери. Снежно-белая градовая туча властно заслонила солнце и поплыла на запад.

Наталья, придерживая растрепанные ветром волосы, подошла к летней кухне, оттуда снова поглядела на гору. На горизонте — окутанные сиреневой дымкой пыли — на-встреч пути звуочки, скакали одиночные всадники. «Значит

верно, уходят!» — облегченно решила Наталья.

Не успела она войти в сенцы, как где-то далеко за горою раскатисто и нелюбо загремели оружейные выстрелы. И, точно перекликаясь с ними, поплыл над Доном радостный колокольный трезвон двух вешенских переквей.

На той стороне Дона из леса густо высыпали казаки. Они тащили волоком и несли на руках баркасы к Дону, спускали их на воду. Гребцы, стоя на кормах, проворно орудовали веслами. Десятка три лодок наперегонки спешили к хутору.

— Натальюшка! Родимая моя! Наши едут!.. — плача навзрыд, причитала высочившая из кухни Ильинична.

Наталья схватила на руки Мишатку, высоко подняла его. Глаза ее горячечно блестя, а голос прерывался, когда она, задыхаясь, говорила:

— Гляди, родненький, гляди, у тебя глазки вострые!.. Может, и твой отец с казаками!.. Не угадаешь? Это не он едет на передней лодке? Ох, да не туда ты глядишь!..

На пристани встретили одного исхудавшего Пантелея Прокофьевича. Старик прежде всего справился, целы ли быки, именные, хлеб, всплакнул, обнимая внучат. А когда, спеша и прихрамывая, вошел на родное подворье, — побледнел, упал на колени, широко перекрестился и, поклонившись на восток, долго не поднимал от горячей, выжженной земли свою седую голову.

## ГЛАВА V

Под командованием генерала Секретова трехтысячная конная группа Донской армии при 6 конорудиях и 18 вьючных пулеметах 10 июня сокрушительным ударом прорвала фронт вблизи станции Усть-Белокалитвенской, двинулась вдоль линии железной дороги по направлению к станции Казанской.

Ранним утром третьего дня офицерский разезд 9-го Донского полка наткнулся около Дона на повстанческий полевой караул. Казаки, завидя конный отряд, бросились в яры, но командовавший разездом казачий есаул по одежде угадал повстанцев, помачал нацепленным на шапку воровым платком в зычло крикнул:

— Свои!.. Не бегай, станичники!..

Раз'езд без опаски полскакал к отnojине яра. Начальник повстанческого караула — старый седой вахмистр, — на ходу застегивая заплечную по росе шинель, вышел вперед. Восемь офицеров спешились, и есаул, подойдя к вахмистру, снял защитную фуражку с ярко белешней на околыше офицерской кокардой, улыбаясь, сказал:

— Ну, здравствуйте, станичники! Что ж, по старому казачьему обычаю — поцелуемся. — Крест-накрест поцеловал вахмистра, вытер платком губы и усы и, чувствуя на себе выжилающие взоры своих спутников, с многозначительной усмешкой, с расстановкой спросил:

— Ну, как, опомнились? Свои-то оказались лучше большевиков?

— Так точно, ваше благородие! Покрыли грех... Три месяца сражались, не чаяли дожидаться вас!

— Хорошо, что хоть поздно, да взяли за ум. Дело прошлое, а кто старое вспоминает — тому глаз вон. Какой станицы?

— Казанской, ваше благородие!

— Ваша часть за Доном?

— Так точно!

— Красные куда направились от Дона?

— Вверх по Дону, должно, — на Донецкую слободку.

— Конница ваша еще не переправлялась?

— Никак нет.

— Почему?

— Не могу знать, ваше благородие. Нас первых направили на эту сторону.

— Артиллерия была у них тут?

— Две батареи были.

— Когда они снялись?

— Вчера на ночь.

— Преследовать надо было! Эх, вы, раззявы! — укоризненно проговорил есаул и, подойдя к коню, достал из полевой сумки блокнот и карту.

Вахмистр стоял на вытяжку, руки по швам. В двух шагах сзади него толпились казаки, со смешанным чувством радости и неосознанного беспокойства рассматривая офицеров, седла, поролистых, но истощенных переходом лошадей.

Офицеры, одетые в аккуратно пригнанные английские френчи с погонами и в широкие бриджи, разминдали ноги, похаживая возле лошадей, пскоса рассматривали на казаков. Уже ни на

одном из них не было, как осенью 1918 года, самодельных погонов, нарисованных чернильным карандашом. Обувь, седла, патронные сумки, бинокли, притороченные к седлам карабины — все новое и не русского происхождения. Лишь самый пожилой по виду офицер был в череске тонкого синего сукна, в кубанке золотистого бухарского каракуля и в горских, без каблучков, сапогах. Он первый, мягко ступая, приблизился к казакам, достал из планшетки нарядную папку папирос с портретом бельгийского короля Альберта, предложил:

— Курите, братцы!

Казаки жадно потянулись к папиросам. Подошли и остальные офицеры.

— Ну, как жилось под большевиками? — спросил большеголовый и широкоплечий хорунжий.

— Не даже сладко... — слержанно отвечал одетый в старый зипун казак, жадно затягиваясь папироской, глаз не сводя с высоких зашнурованных по колену гетр, туго обтягивавших толстые икры хорунжего.

На ногах казака еле держались стоптанные рваные чиряки. Белые многократно штопанные шерстяные чулки, с заправленными в них шароварами, были изорваны: потому-то казак и не сводил очарованного взгляда с английских ботинок, прельшавших его толщиной неизносных подошв, ярко блестящими медными пистонами. Он не утерпел и простодушно выразил свое восхищение:

— А и хороша же у вас обувка!

Но хорунжий не был склонен к мирному разговору. С ехидством и вызовом он сказал:

— Захотелось вам заграничную экипировку променять на московские лапти, так теперь нечего на чужое заглядывать!

— Промашка вышла. Обвиновались... — смущенно отвечал казак, оглядываясь на своих, ища поддержки.

Хорунжий продолжал издевательски отчитывать:

— Ум у вас оказался бычий. Бык, он ведь всегда так: сначала шагнет, а потом стоит думает. Промашка вышла! А осенью, когда фронт открыли, о чем думали? Комиссарами хотели быть! Эх, вы, защитники отечества!..

Молодецкий сотник тихо шепнул на ухо расходившемуся хорунжему:



«Оставь, будет тебе!». И тот затоптал папироску, сплюнул, развалисто пошел к дошадям.

Есаул передал ему записку, что-то сказал вполголоса.

С неожиданной легкостью тяжеловатый хорунжий вскочил на коня, круто повернул его и посккал на запад.

Казак смущенно молчали. Полощедший есаул, играя низкими нотами звучного баритона, весело спросил:

— Сколько верст отсюда до хутора Варваринского?

— Тридцать пять, — в несколько голосов ответили казаки.

— Хорошо. Так вот что, станичники, ступайте и передайте вашим начальникам, чтобы конные части, не медля ни минуты, переправлялись на эту сторону. С вами отправится до переправы наш офицер, он поведет конницу. А пехота походным порядком пусть движется в Казанскую. Понятно? Ну, как говорится, налево кругом и с богом шагом арш!

Казак голпою пошел под гору. Сажен сто шагали и молчали, как поговору, а потом невзрачный казачишка в зипуне, тот самый, которого отходил ретивый хорунжий, покачал головой и горестно вздохнул.

— Вот и соединились, братушки...

Другой с живостью добавил:

— А хрен рельки не слаже! — И смачео выругался.

## ГЛАВА VI

Тотчас же, как только в Вешенской стало известно о спешном отступлении красных частей, Григорий Мелехов с двумя конными полками вплава переправился через Дон, выслал сильные разезды и двинулся на юг.

За облюбским бугром шел бой. Глухо, как под землей, громыхали слывавшися раскаты орудийных выстрелов.

— Снарядов-то кадеты, видать, не жалуют! Беглым огнем содят!—восхищенно сказал один из командиров, подъезжая к Григорию.

Григорий премолчал. Он ехал вперед колонны, внимательно осматриваясь по сторонам. От Дона до хутора Базковского на протяжении трех верст стояли тысячи оставленных повстанцами бричек и арб. Всюду по лесу ле-

жало разбросанное имущество: разбитые сундуки, стулья, одежда, упряжь, посуда, швейные машины, мешки с зерном, все, что в великой хозяйской жадности было схвачено и привезено при отступлении к Дону. Местами дорога по колено была усыпана золотистой пшеницей. И тут же валялись раздувшиеся, обезображенные разложением, зловонные трупы быков и лошадей.

— Вот так находывали! — воскликнул потрясенный Григорий и, обнажив голову, стараясь не дышать, осторожно обехал курганчик слежавшегося зерна с распростертым на нем мертвым стариком в казачьей фуражке и окровавленном зипуне.

— Докараулил делок свое добро! Черти его взмордовали тут оставаться, — с сожалением сказал кто-то из казаков.

— Небось, пашаницу жалко было бросать...

— А ну, трогай рысью! Воняет от него — не дай бог. Эй! Трогай!.. — возмущенно закричали из задних рядов.

И сотня перешла на рысь. Разговоры смолкли. Только погон множества конских копыт да перезвук подогнанного казачьего снаряжения согласно зазвучали по лесу.

... Бой шел неподалеку от имения Листинских. По суходолу, в стороне от Ягодного, густо бежали красноармейцы. Над головами их рвалась шрапнель, в спины им били пулеметы, а по бугру, отрезая путь к отступлению, текла лавка калмыцкого полка.

Григорий подошел со своими полками, когда бой уже кончился. Две красноармейские роты, прикрывавших отход по Вешенскому перевалу разрозненных частей и обозов 14-й Мироновской дивизии, были разбиты 3-м калмыцким полком и целиком уничтожены. Еще на бугре Григорий передал командование Ермакову, сказал:

— Управлялись тут без нас. Или на соединении, а я на минуту забегу в усадьбу.

— Что за нужда? — удивился Ермаков.

— Ну, как тебе сказать, жил тут в работниках смедеду вет и потянуло что-то, поглянуть на старые места...

Кликнув Прохера, Григорий повернул в сторону Ягодного и, когда от-

ехал с полверсты, увидел, как над головной сотней взвилось и заполоскалось на ветру белое полотнище, предостережительно захваченное кем-то из казаков. «Будто в плен сдаются!» — с тревогой и неосознанной тоской подумал Григорий, глядя, как медленно, как бы нехотя, спускается колонна в суходол, а навстречу ей прямо по зеленым на-рысях идет конная группа секретнейцев.

Грустью и запустением пахнуло на Григория, когда через поваленные ворота вехал он на заросший лебедью двор имения. Ягодное стало неузнаваемым. Всюду виднелись страшные следы бесхозяйственности и разрушения. Некогда нарядный дом потускнел и словно стал ниже. Давным-давно не крашенная крыша желтела пятнистой ржавчиной, поломанные водосточные трубы валялись около крыльца, кособоко висели сорванные с петель ставни, в разбитые окна со свистом врвался ветер, и оттуда уже тянуло горьковатым плесневелым духом нежилца.

Угол дома с восточной стороны и крыльцо были разрушены снарядом трехдюймовки. В разбитое венецианское окно коридора просунулась вертушка поваленного снарядом клена. Он так и остался лежать, уткнувшись комлем в вывалившуюся из фундамента грудку кирпичей. А по завядшим ветвям его уже полз и кучерявился стремительный в росте дикий хмель, прихотливо оплетал уцелевшие стекла окна, тянулся к карнизу.

Время и непогода делали свое дело. Надворные постройки обветшали и выглядели так, будто много лет не касались их заботливые человеческие руки. В конюшне вывалилась подмытая ветхими дождями каменная стена, крышу каретника раскрыла буря, и на мертвенно белевших стропилах и перерубах лишь кое-где оставались клочья полусгнившей соломы.

На крыльце людской лежали три одичавшие борзые. Завидев людей, они вскачили и, глухо рыча, скрылись в сенцах. Григорий подехал к распахнутому окну флигеля; перегнувшись с седла, громко спросил:

— Есть кто живой?

Во флигеле долго стояла тишина, а потом надтреснутый женский голос ответил:

— Погодите, ради Христа! Сейчас выйду.

Постаревшая Лукерья, шаркая боковыми ногами, вышла на крыльцо; шурясь от солнца, долго всматривалась в Григория.

— Не угадаешь, тетка Лукерья? — спешиваясь, спросил Григорий.

И только тогда что-то дрогнуло в рябом лице Лукерьи, и тупое безразличие сменилось сильным волнением. Она заплакала и долго не могла проронить ни одного слова.

Григорий привязал коня, терпеливо выжидал.

— Матерпелась я страсти... Не дай и не приведи... — начала причитать Лукерья, вытирая щеки грязной холстинной завеской. — Думала, опять они прнехали... Ох, Гришенька, что тут было... И не расскажешь.. Одна ить я осталась...

— А дед Сашка где же? Отступил?

— Кабы отступил, может, и живой бы был...

— Неужли помер?

— Убили его... Третьи сутки лежит на погребу... зарыть бы надо, а я сама расхворалась... Насялу встала... Да и боюсь ло смерти иттить туда к нему, к мертвому...

— За что же? — не поднимая глаз от земли, глухо спросил Григорий.

— За кабылу порешили... Наппи-то паны отступили поспешно. Одни капитал взяли, а имущество почти все на меня оставили. — Лукерья перешла на шопот: — Все до натын соблюла! Зарытое и до се лежит. А из лошадей только трех орловских жеребцов взяли, остальных оставили на деда Сашку. Как началась восстания, брали их и казаки, и красные. Вороного жеребца «Вихорь» — может, помнишь? — взяли на провесне красные. Насялу заседлали. Он ить под седлом сроду не ходил. Только не пришлось им на нем поехать, поликовать. Заезжали через неделю каргиновские казаки, рассказывали. Соплись они на бугре с красными, зачали палить один в одного. У казаков какая-то немудрячая кобыленка и заржала в тот час. Ништо ж не притянул «Вихорь» красного к казакам? Кинулся со всех ног к кобыле, и не мог его удержать энтот-то ездок, какой на нем сидел. Видит он, что не совладеет с жеребцом, и захотел на всем скаку согнуть с него. Сигнуть-то сигнул, а ногу

из стремени не вытянул. «Вихорь» его и примчал прямо к казакам в руки.

— Довбо! — воскликнул восхищенный Прохор.

— Теперь на этом жеребце каргиновский подфорунжий ездит, — размеренно повествовала Лукерья. — Сулил, как только пан вернется, — сейчас же «Вихорья» на конюшню представить. И так вот всех позабрали лошадок, и осталась одна рысачка «Стрелка», что от «Примера» и «Суженой». Была она жеребая, через это ее никто и не трогал. Опорожнилась она недавно, и дед Сашка так уж этого жеребеночка жалел, так жалел — и рассказать нельзя! На руках носил и из рожка подпаивал молоком и каким-то травяным настоем, чтобы на ногах крепче был. Вот и случилась беда... Третьего дня прискакали трое перед вечером. Дед в саду траву косил. Они шумят ему: «Иди сюда, таковой-сягой!». Он кося бросил, подошел, поздоровался, а они и не глядят, молоко пьют и спрашивают у него: «Лошади есть?». Он и говорит: «Одна есть, но она по вашему военному делу негожая: кобыла, к тому же подсосая, с жеребенком». Самый лютый из них как зашумит: «Это не твоего ума дело! Веди кобылу, старый чорт! У моей лошади спина побитая, и должен я ее сменить!». Ему бы покориться и не стоять за эту кобылу, ну, а он, сам знаешь, характерный старичок был... Пану — и тому, бывало, не смолчат. Помнишь, небось?

— Что же он, так и не дал? — вмешался в рассказ Прохор.

— Ну, как же тут не дашь? Он только и сказал им: «До вас, мол, сколько ни прибегало конных, всех лошадей забрали, а к этой жалость имели, а вы что ж... Тут они и поднялись: «А, шумят, панский холуй, ты пана ее берешь!?!». Ну, и потянули его... Один вывел кобылу, начал седлать, а жеребенок к ней под сеньку лезет. Дед просить начал: «Смилюйтесь, не берите! Жеребеночка куда же девать?» — «А вот куда!» — говорит другой да с тем отогнал его от матки, снял с плеча ружье и вларил в него. Я так и залилась слезами... Подбегла, пронюхала, деда хватаю, хочу увести от греха, а он как глянул на жеребеночка, — бородавка на нем затряслась, побелел весь, как стена, и говорит: «Ежели

так, то стреляй и меня, сучий сын!» Кинулся к ним, вцепился, седлать не дает. Ну они осерчали и порешили его вгорячах. От ума я отошла, как они в него стрельнули... Теперь и ума не приложу, как с ним быть. Домовину бы надо ему сделать, да разве это бабьего ума дело?

— Дай две допаты и рядно, — попросил Григорий.

— Думаешь похоронять его? — спросил Прохор.

— Да.

— И охота тебе утруждаться, Григорий Пантелевич! Давай я зараз смогаюсь за казаками. Они и гроб делают, и могилку ему выкоют подходящую...

Прохору, как видно, не хотелось возиться с похоронами какого-то старика, но Григорий решительно отклонил его предложение:

— Сами и могилу выроем, и похороним. Старик этот хороший был человек. Ступай в сад, возле пруда подождешь, а я пойду гляну на покойника.

Под тем же старым разлапистым тополем, возле одетого ряской пруда, где некогда схоронил дед Сашка дочушку Григория и Аксиньи, нашел и он себе последний приют. Положили его сухонькое тело, завернутое в чистый пахнувший хмелинами дежник, засыпали землей. Рядом с крохотным могильным холмиком вырос еще один, аккуратно приотпанный сапогами, празднично сияющий свежим и влажным суглинком.

Удрученный воспоминаниями, Григорий прилег на траву неподалеку от этого маленького дорогого сердцу кладбища и долго глядел на величаво распростертое над ним голубое небо. Где-то там, в вышних беспредельных просторах, гуляли ветры, пилили осиянные солнцем холодные облака, а на земле, только-что принявшему веселого младника и пьяницу деда Сашку, все так же яростно кипела жизнь: в степи, зеленым разливом подступившей к самому саду, в зарослях дикой конопки возле прясел старого гумна, неумолчно звучала гремучая дробь перепелниного боя, свистели суслики, жужжали шмели, шелестела облаканная ветром трава, пели в струистом мареве жаворонки, и, утверждая в природе человеческое величие, где-то да-

деко-далеко по сухололу настойчиво, злобно и глухо стучал пулемет.

## ГЛАВА VII

Генерала Секретева, приехавшего в Вешенскую со штабными офицерами и с сотней казаков личного конвоя, встречали хлебом-солью, колокольным звоном. В обеих церквях весь день грезвонили, как на пасху. По улицам раз'езжали на поджарых, истощенных переходом дончакх низовские казаки. На плечах у них вызывающе синели погоны. На площади, около купеческого дома, где отвели квартиру генералу Секретеву, толпились ординарцы. Душа семечки, они заговаривали с проходившими мимо принаряженными станичными девками.

В полдень к генеральской квартире трое конных калмыков пригнали человек пятнадцать пленных красноармейцев. Сзади шла пароконная подвода, заваленная духовыми инструментами. Красноармейцы были одеты необычно: в серые суконные брюки и такие же куртки с красным кантом на обшлагах рукавов. Пожилой калмык подехал к ординарцам, праздно стоявшим у ворот, спешился, сунул в карман глиняную трубочку:

— Наши красных трубачей пригна- ла. Понимаешь?

— Чего ж тут понимать-то? — лениво отозвался толстомордый ординарец, сплевывая подсолнечную лузгу на запыленные сапоги калмыка.

— Чего ничего, — прими пленных. Наел жирный морда, болтай зря чего!

— Но-но! Ты у меня поговорить, курюк бараний! — обиделся ординарец. Но доложить о пленных пошел.

Из ворот вышел лебелый есаул в коричневом туго затянутом в талии бешмете. Раскорячив толстые ноги картинно подбоченясь, оглядел столпившихся красноармейцев, пробасил:

— Комиссаров музыкой ус-слаж-ла- ли, рвань тамбовская! Откуда серые мушкетеры? С немцев снимали, что ли?

— Никак нет, — часто мигая, ответил стоявший впереди всех красноармеец. И скороговоркой пояснил: — Еще при Керенском нашей музыкантской команде пошли эту форму, перед июнь-

ским наступлением... Так вот и носим с той поры...

— Поносишь у меня! Поносишь! Вы у меня поносите! — Есаул сдвинул на затылок низко срезанную кубанку, обнажив на бритой голове малиновый незарубцевавшийся шрам, и круто повернулся на высоких стоптанных каблуках лицом к калмыку. — Чего ты их гнал, некрещеная харя? За каким чюотом? Не мог по дороге на распыл пу- стить?

Калмык весь как-то незаметно подо- брался, ловко сдвинул кривые ноги и, не отнимая руки от козырька защитной фуражки, ответил:

— Командир сотни приказала гони сюда надо

— «Гони сюда надо!» — передраз- нил Франтоватый есаул, презрительно скривив тонкие губы, и грузно ступая отечными ногами, подрагивая толстым залом, обошел красноармейцев: долго и внимательно, как барышник—лошадей, осматривал их.

Ординарцы потихоньку посмеивались. Лица конвойных калмыков хранили все- гдашнюю бесстрастность.

— Открыть ворота! Загнать их во двор! — приказал есаул.

Красноармейцы и подвода с беспоря- дочно наваленными инструментами ос- тановились у крыльца.

— Кто капелмейстер? — закуривая, спросил есаул.

— Нет его, — ответили сразу не- сколько голосов.

— Где же он? Сбежал?

— Нет, убит.

— Тула и дорога. Обойдетесь и без него. А ну, разобрать инструменты!

Красноармейцы подошли к подводе. Смешиваясь с назойливым перезвоном колоколов, во дворе робко и нестройно зазвучали медные голоса труб.

— Приготовиться! Давайте «Боже, царя храни».

Музыканты молча переглянулись. Ни- кто не начинал. С минуту длилось тя- гостное молчание, а потом один из них, босой, но в аккуратно закручен- ных обмотках, глядя в землю, ска- зал:

— Из нас никто не знает старого гимна...

— Никто? Интересно... Эй, там! По- лувзвод ординарцев с винтовками!

Есаул отбивал носком сапога не- слышимый такт. В коридоре, грэмя кара-



бинами, строились ординарцы. За палисадником в густо разросшихся акациях чирикали воробьи. Во дворе жарко пахло раскаленными железными крышами сараев и людским едким потом. Есаул отошел с солнцепека в тень, и тогда бошой музыкант с тоскою глянул на товарищей, негромко сказал:

— Ваше высокоблагородие! У нас все тут — молодые музыканты. Старое не приходилось играть... Революционные марши все больше играли... Ваше высокоблагородие!

Есаул рассеянно вертел кончик своего наборного ремешка, молчал.

Ординарцы выстроились возле крыльца, ждали приказания. Расталкивая красноармейцев, из задних рядов поспешно выступил пожилой с белым на глазу музыкант: покашливая, спросил:

— Разрешите? Я могу исполнить. — И, не дожидаясь согласия, приложил к дрожащим губам накаленный солнцем фаягот.

Глухавые, тоскующие звуки, одиноко взметнувшиеся над просторным купеческим двором, заставили есаула гневно поморщиться. Махнув рукой, он крикнул:

— Перестать! Как нищего за... тянешь! Разве это музыка?

В окнах показались улыбающиеся лица штабных офицеров и адъютантов.

— Вы им похоронный марш закажите! — южешеским тенорком крикнул до половины свесившийся из окна молоденький сотник.

Надсадный звон колоколов на минуту смолк, и есаул, шевеля бровями, вкрадчиво спросил:

— «Интернационал», надеюсь, исполняете? Давайте-ка! Да не бойтесь! Давайте, раз приказываю.

И в наступившей тишине, в полуденном зное, словно зова на бой, вдруг согласно и величаво загремели трубные негодующие звуки «Интернационала».

Есаул стоял, как бык перед препятствием, наклонив голову, расставив ноги. Стоял и слушал. Мускулистая шея его и синеватые белки прищуренных глаз наливались кровью.

— От-ста-вить!.. — не выдержав, яростно заорал он.

Оркестр разом умолк, лишь валторна запоздала, и надолго повис в раскаленном воздухе ее страстный незаконченный призыв.

Музыканты облизывали пересохшие губы, вытирали их рукавами, грязными ладонями. Лица их были усталы и равнодушны. Только у одного предательская слеза сбежала по запыленной щеке, оставив влажный след..

Тем временем генерал Секретев отобедал у родных своего сослуживца еще по русско-японской войне и, подерживаемый пьяным адъютантом, вышел на площадь. Жара и самогон одурманили его. На углу против кирпичного здания гимназии ослабевший генерал споткнулся, упал ничком на горячий песок. Растерявшийся адъютант тщетно пытался поднять его. Тогда из толпы, стоявшей неподалеку, поспешили на помощь. Двое престарелых казаков под руки почтительнейше приподняли генерала, которого тут же всенародно стошнило. Но в перерывах между приступами рвоты он еще пытался что-то выкрикивать, воинственно потрясая кулаками. Кое-как уговорили его, повели на квартиру.

Стоявшие поодаль казаки провожали его долгими взглядами, вполголоса переговаривались:

— Эх его, болезного, развезло-то! Не в аккурате держит себя, даром что генерал.

— Самогонка-то на чины-ордена не глядит.

— Хлебасть бы надо не всю, какую становили...

— Эх, сваток, не всякий вытерпит! Иной в пьяном виде сразу наберется и зарекается сроду не пить... Да ить оно как говорится: зарекалась свинья чегой-то есть, бежит, а их два лежит...

— То-то и оно! Шумни ребятам, чтобы отошли. Идут рядом, вытупились на него вражешята, как, скажи, сроду они пьяных не видали.

...Трезвонили и самогон пили по станице до самых сумерек. А вечером в доме, предоставленном под офицерское собрание, повстанческое командование устроило для прибывших банкет.

Высокий, статный Секретев—исключительный казак, уроженец одного из хуторов Краснокутской станицы—был страстным любителем верховых лошадей, превосходным наездником, лихим кавалерийским генералом. Но он не был оратором. Речь, произнесенная им на банкете, была исполнена пьяного бахвальства и в конце содержала недвусмыс-

ленные упреки и угрозы по адресу верхнедонцев.

Присутствовавший на банкете Григорий с напряженным и злобным вниманием вслушивался в слова Секретева. Не успевший протрезвиться генерал стоял, опираясь пальцами о стол, расплескивая из стакана пахучий самогон; говорил, с излишней твердостью произнося каждую фразу:

— Нет, не мы вас должны благодарить за помощь, а вы нас. Именно вы, это надо твердо сказать. Без нас красные вас уничтожили бы. Вы это сами прекрасно знаете. А мы и без вас раздавили бы эту сволочь. И давим ее, и будем давить, имейте в виду, до тех пор, пока не очистим наголо всю Россию. Вы бросили осенью фронт, пустили на казачью землю большевиков... Вы хотели жить с ними в мире, но не пришлось! И тогда вы восстали, спасая свое имущество, свою жизнь. Попросту — спасая свои и бычьиные шкуры. Я вспоминаю о прошлом не для того, чтобы попрекнуть вас вашими грехами... Это не в обиду вам говорится. Но истину установить никогда не вредно. Ваша измена была нами прощена. Как братья, мы пошли к вам в наиболее трудную для вас минуту, пошли на помощь. Но ваше позорное прошлое должно быть искуплено в будущем. Поняно, господа офицеры? Вы должны искупить его своими подвигами и безупречным служением Тихому Дону, понятно?

— Ну, за искупление! — ни к кому не обращаясь в отдельности, чуть приметно улыбаясь, сказал сидевший против Григория пожилой войсковой старшина и, не дожидаясь остальных, выпил первый. У него — мужественное, слегка тронутое оспой лицо и на смешистые карие глаза. Во время речи Секретева губы его не раз складывались в неопределенную блуждающую усмешку, и тогда глаза темнели и казались совсем черными. Наблюдая за войсковым старшиной, Григорий обратил внимание на то, что тот был «на ты» с Секретевым и держался по отношению к нему крайне независимо, а с остальными офицерами был подчеркнуто сдержан и холоден. Он один из присутствовавших на банкете носил вшитые погоны цвета хаки на таком же кителе и нарукавный корниловский шеврон. «Какой-то илейный. Должно, из добровольцев» — подумал Григорий.

Пил войсковой старшина, как лошадь. Не закусывал и не пьянел, лишь время от времени отпуская широкий английский ремень.

— Кто это, насупротив меня, рябоватый такой? — шопотом спросил Григорий у сидевшего рядом Богатырева.

— А чорт его знает! — отмахнулся подвыпивший Богатырев.

Кудинов не жалел для гостей самогона. Откуда-то появился на столе спирт, и Секретев, с трудом окончив речь, распахнул защитный сюртук, тяжело опустился на стул. К нему наклонился молодой сотник с ярко выраженным монгольским типом лица, что-то шепнул.

— К чорту! — побагровев, ответил Секретев и залпом выпил рюмку спирта, услужливо налитую Кудиновым.

— А это кто с косыми глазами? Адъютант? — спросил Григорий у Богатырева.

Прикрывая ладонью рот, тот ответил:

— Нет, это его вскормленник. Он его в японскую войну привез из Манчжурии мальчишкой. Воспитал и отдал в юнкерское. Получился из китайчонка толк. Лихой, чорт! Вчера отбил под Макеевкой денежный ящик у красных. Два миллиона денег хапнул. Глянь-ка, они у него изо всех карманов пачками торчат! Повезло же проклятому! Чистый клад! Да пей ты, чего ты их разглядываешь?

Ответную речь держал Кудинов, но его почти никто уже не слушал. Полюйка принимала все более широкий размах. Секретев, сбросив сюртук, сидел в одной нижней рубашке. Голо бритая голова его лоснилась от пота, и безупречно чистая полотняная рубашка еще резче оттеняла багровое лицо и оливковую от загара шею. Кудинов что-то говорил ему вполголоса, но Секретев, не глядя на него, настойчиво повторял:

— Не-е-ет, извини! Уж это ты извини! Мы вам доверяем, но постольку — поскольку... Ваше предательство не скоро забудется. Пусть это зарубят себе на носу все, кто переметнулся осенью к красным...

«Ну, и мы вам послужим постольку-поскольку!» — с холодным бешенством подумал опьяневший Григорий и встал.

Не надевая фуражки, вышел на крыльцо, с облегчением, всей грудью вдохнул свежий ночной воздух.

У Дона, как перед дождем, гомонили лягушки, угрюмовато гудели водяные жуки. На песчаной косе тоскливо перекликались кулики. Где-то далеко в займище залиvisto и тонко ржал потерявший матку жеребенок. «Сосватага нас с вами горькая нужда, а то и на попох вы бы нам были не нужны. Сво-лочь проклятая! Ломается, как копеечный пряник, попрекает, а через неделю прямо начнет на глотку наступать... Вот подошло, так подошло! Куда ни кинь — везде клин. А ить я так и думал... Так оно и должно было получиться. То-то казаки теперь носами закрутят! Отвыкли козырять да тянуться перед их благородиями» — думал Григорий, сходя с крыльца и ощупью пробираясь к калитке.

Спирт действовал и на него: кружилась голова, движения обретали неуверенную тяжеловесность. Выходя из калитки, он качнулся, нахлобучил фуражку, — волоча ног, пошел по улице.

Около домика аксиньиной тетки на минуту остановился в раздумьи, а потом решительно шагнул к крыльцу. Дверь в сени была не заперта. Григорий без стука вошел в горницу и прямо перед собой увидел сидевшего за столом Степана Астахова. Около печи суетилась аксинина тетка. На столе, покрытом чистой скатертью, стояла недопитая бутылка самогона, в тарелке розовела порезанная на куски вяленая рыба.

Степан только-что опорожнил стакан и, как вино, хотел закусить, но, увидев Григория, отодвинул тарелку, прислонился спиной к стене.

Как ни быд пьян Григорий, он все же заметил и мертвенно побледневшее лицо Степана, и его по-волчьи вспыхнувшие глаза. Ошеломленный встречей, Григорий нашел в себе силы хриповато проговорить:

— Здорово дивали!

— Слава богу, — испуганно ответила ему хозяйка, безусловно осведомленная об отношениях Григория с ее племянницей и не оживавшая от этой нечаянной встречи мужа и любовника ничего доброго.

Степан молча глядя левой рукою усы, загоревшихся глаз не сводил с Григория.

А тот, широко расставив ноги, стоял у порога, криво улыбаясь, говорил:

— Вот, зашел проведать... Извиняйте...

Степан молчал. Неловкая тишина длилась до тех пор, пока хозяйка не осмелилась пригласить Григория:

— Проходите, садитесь.

Теперь Григорию уж нечего было скрывать. Его появление на квартире у Аксиньи об'яснило Степану все. И Григорий пошел напролом:

— А где же жена?

— А ты... ее пришел проведать? — тихо, но внятно спросил Степан и прикрыл глаза затрепетавшими ресницами.

— Ее, — со вздохом признался Григорий.

Он ждал в этот миг от Степана всего и, трезвея, готовился к защите. Но тот приоткрыл глаза (в них уже погас недавний огонь), сказал:

— Я послал ее за водкой, она зараз придет. Садись, подожди.

Он даже встал — высокий и ладный — и подвинул Григорию стул; не глядя на хозяйку, попросил:

— Тетка, дайте чистый стакан. —

И — Григорию: — Выпьешь?

— Немножко можно.

— Ну, садись.

Григорий присел к столу... Оставшееся в бутылке Степан разлил по боу в стаканы, поднял на Григория задернутые какой-то дымкой глаза:

— За все хорошее!

— Будем здоровы!

Чокнулись. Выпили. Помолчали. Хозяйка, проворная как мышь, подала гостю тарелку и вилку, с выщербленным черенком:

— Кушайте рыбку! Это малосольная.

— Благодарствую.

— А вы кладите на тарелку, угощайтесь! — потчевала повеселевшая хозяйка. Она была донельзя довольна тем, что все обошлось так по-хорошему, без драки, без битья посуды, без огласки. Суливший недоброе разговор окончился. Муж мирно сидел за общим столом с дружкой жены. Теперь они молча ели и не смотрели друг на друга. Предупредительная хозяйка достала из сундука чистый рушник и как бы соединила Григория со Степаном, положив концы его обоим на колени.

— Ты почему не в сотне? — обглядывая подлещика, спросил Григорий.

— Тоже проведать пришел, — помол-

чав, ответил Степан, и по тону его никак нельзя было определить, серьезно он говорит или с издевкой.

— Сотня дома, небось?

— Все в хуторе гостуют. Что ж, допьем?

— Давай.

— Будем здоровы!

— За все доброе!

В сенцах звякнула шеколда. Окончательно отрезвевший Григорий глянул изподлобья на Степана, заметил, как бледность снова волной омыла его лицо.

Аксинья, закутанная в коврзый платок, не угадывая Григория, поюшма к столу, глянула сбоку, и в черных расширившихся глазах ее плеснула ужас. Задохнувшись, она насилу выговорила:

— Здравствуйте, Григорий Пантелевич!

Лежавшие на столе большие, узловатые руки Степана вдруг мелко задрожали, и Григорий, видевший это, молча поклонился Аксинье, не проронив ни слова.

Ставя на стол две бутылки с самогонном, она снова метнула на Григория взгляд, полный тревоги и скрытой радости, повернулась и ушла в темный угол горницы, села на сундук, трясушимися руками поправила прическу. Преодолев волнение, Степан расстегнул воротник душившей его рубахи, налил допотопла стаканы, повернулся лицом к жене:

— Возьми стакан и садись к столу.

— Я не хочу.

— Садись!

— Я же не пью ее, Степа!

— Сколько раз говорить? — Голос Степана дрогнул.

— Садись, соседка! — Григорий ободряюще улыбнулся. Она с мольбой взглянула на него, быстро подошла к шкафчику. С полки упало блюдечко, со звоном разбилось.

— Ах, беда-то какая! — Хозяйка огорченно всплеснула руками.

Аксинья молча собирала осколки.

Степан налил и ей стакан доверху, и снова глаза его вспыхнули тоской и ненавистью.

— Ну, выпьем... — начал он и умолк.

В тишине было отчетливо слышно, как бурно и прерывисто дышит присевшая к столу Аксинья.

— ... Выпьем, жена, за долгую разлуку. Что же, не хочешь? Не пьешь?

— Ты же знаешь...

— Я зараз все знаю... Ну, не за разлуку! За здоровье дорогого гостя Григория Пантелевича.

— За его здоровье выпью! — звонко сказала Аксинья и выпила стакан залпом.

— Победная твоя головушка! — пропентала хозяйка, выбежав на кухню.

Она заблалась в угол, прижала руки к груди, ждала, что вот-вот с грохотом упадет опрокинутый стол, оглушительно грянет выстрел... Но в горнице мертвая стояла тишина. Слышно было только, как жужжат на потолке потревоженные светом мухи, да за окном, приветствуя полночь, перекликаются по станице петухи.

## ГЛАВА VIII

Темны июньские ночи на Дону. На аспинно-черном небе в томительном безмолвии вспыхивают золотые зарницы, падают звезды, отражаясь в текущей быстрине Дона. Со степи сухой и теплый ветер несет к жилию медвяные запахи цветущего чобора, а в займище пресно пахнет влажной травой, плом, сыростью, неумолчно кричат коростели, и прибрежный лес, как в сказке, весь покрыт серебристой парчюю тумана.

Прохор проснулся в полночь. Спросил у хозяина квартиры:

— Наш-то не пришел?

— Нету. Гуляет с генералами.

— То-то там, небось, волки попыют! — завистливо вздохнул Прохор и, позевывая, стал одеваться.

— Ты куда это?

— Пойду коней налюю да зерна засыплю. Говорил Пантелевич, что с рассветом выедем в Татарский. Переднюю там, а потом свои частя надо догонять.

— До рассвета ишо далеко. Позаревал бы.

Прохор с неудовольствием ответил:

— Сразу по тебе, дед, видать, что пестровой ты был смолоду! Нам при нашей службе, ежели коней не кормить да не ухаживать за ними, так, может, и живым не быть. На худоконке разве раскочешься! Чем ни добрее под голюю животина, тем скорее от неприятеля ускачешь. Я такой: мне догонять

их нету надобностей, а коли туго придется, подопрет к кутнице — так я первый махну! Я и так уж какой год лоб под пули подставляю, осточертело! Зажги, дедок, огонь, а те портянки не найду. Вот спасибо! Да-а-а, это наш Григорий Пантелевич кресты да чины схватывал, в пекло лез, а я не такой дурак, мне это без надобностей. Ну, никак, несут его черти, и, небось, пьяный в дымину.

В дверь тихонько постучали.

— Взойдите! — крикнул Прохор.

Вошел незнакомый казак с погонами младшего урядника на защитной гимнастерке и в фуражке с кокардой.

— Я ординарец штаба группы генерала Секретева. Могу я видеть их благородие господина Мелехова? — спросил он, козырнув и вытянувшись у порога.

— Нету его. — ответил пораженный выправкой и обращением выскоченного ординарца Прохор. — Да ты не тямись, я сам смолоду был такой дурак, как ты. Я его вестовой. А чо какому ты делу?

— По приказанию генерала Секретева за господином Мелеховым. Его просили сейчас же явиться в дом офицерского собрания.

— Он туда потянул ишо с вечера.

— Был, а потом ушел оттуда домой.

Прохор свистнул и подмигнул сидевшему на кровати хозяину:

— Понял, дед? Зафитилил, значит, к своей калечке... Ну, ты иди, служивый, а я его разыщу и представлю туда прямо тепленького!

Поручив старику напоить лошадей и задать им зерна, Прохор отправился к аксиньной тетке.

В нечеловеческой темноте спала стаппа. На той стороне Дона, в лесу, чанеребой высвистывали соловьи. Неторопясь, подошел Прохор к знакомой хатенке, вошел в сени и, только-что взялся за дверную скобу, — услышал басистый степанов голос. «Вот это я нарвался! — подумал Прохор. — Спросит, зачем пришел? А мне и скануть нечего. Ну, была, не была, — повидалась! Скажу, зашел самогонки купить, направили, мол, соседи в этот дом».

И, уже осмелев, вошел в горницу, — пораженный изумлением, молча рас-

крыл рот: за одним столом с Астаховыми сидел Григорий и — как ни в чем не бывало — тянул из стакана мутнозеленый самогон.

Степан глянул на Прохора, натужно улыбаясь, сказал:

— Чего же ты зевало раскрыл и не здороваешься? Али диковину какую увидал?

— Вроде этого... — переминаясь с ноги на ногу, отвечал еще не пришедший в себя от удивления Прохор.

— Ну, не пужайся, проходи, садись, — приглашал Степан.

— Мне садиться время не указыва-ет... Я за тобой, Григорий Пантелевич. Приказано к генералу Секретеву явиться зараз же.

Григорий и до прихода Прохора несколько раз порывался уйти. Он отодвигал рюмку, вставал и тотчас же снова садился, боясь, что уход его Степан расценит как открытое проявление трусости. Гордость не позволяла ему покинуть Аксинью, уступить место Степану. Он пил, но самогон уже не действовал на него. И, трезво оценивая всю двусмысленность своего положения, Григорий выжидал развязки. На секунду ему показалось, что Степан ударит жену, когда она вышла за его—Григория—здоровье. Но он ошибся: Степан поднял руку, потер шершавой ладонью загорелый лоб и после недолгого молчания, с восхищением глядя на Аксинью, сказал: «Молодец жена! Люблю за смелость!».

Потом вошел Прохор.

Поразмыслив, Григорий решил не идти, чтобы дать Степану высказаться.

— Пойди туда и скажи, что не нашел меня. Понял? — обратился он к Прохору.

— Понять-то понял. Только лучше бы тебе, Пантелевич, сходить туда.

— Не твое дело! Ступай.

Прохор пошел было к дверям Но тут неожиданно вмешалась Аксинья. Не глядя на Григория, она сухо сказала:

— Нет, чего уж там, идите вместе, Григорий Пантелевич! Спасибо, что зашли, погостевали, разделили с нами время... Только не рано уж, вторые кочета прокричали. Скоро рассветет, а нам с Степой на зорьке надо домой идти... Да и выпили вы достаточно. Хватит!

Степан не стал удерживать и Григорий поднялся. Прощаясь, Степан за-



держал руку Григория в своей холодной и жесткой руке, словно бы хотел напо-следок что-то сказать, — но так и не сказал, молча до дверей проводил Григория глазами, неспеша потянулся к недопитой бутылке...

Страшная усталость овладела Григорием, едва он вышел на улицу. С трудом передвигая ноги, дошел до первого перекрестка, попросил следовавшего за ним неотступно Прохора:

— Иди, седлай коней и под'езжай сюда. Не дойду я...

— Не доложить об том, что едешь-то?

— Нет.

— Ну, погоди, я — живой ногой!

И всегда медлительный Прохор на этот раз пустился к квартире рысью.

Григорий присел к плетню, закурил. Восстанавливая в мыслях встречу со Степаном, равнодушно подумал: «Ну, что ж, теперь он знает... Лишь бы не бил Аксинью». Потом усталость и пережитое волнение заставили его прилечь. Он задремал.

Вскоре под'ехал Прохор.

На пароме переправились на ту сторону Дона, пустили лошадей крупной рысью.

С рассветом в'ехали в Татарский. Около ворот своего база Григорий спешился, кинул повод Прохору, — торопясь и волнуясь, пошел к дому.

Полуодетая Наталья выпшла зачем-то в сенцы. При виде Григория заспанные глаза ее вспыхнули таким ярким, брызжущим светом радости, что у Григория дрогнуло сердце и мгновенно и неожиданно увлажнились глаза. А Наталья молча обнимала своего единственного, прижималась к нему всем телом, и по тому, как вздрагивали ее плечи, Григорий понял, что она плачет.

Он вошел в дом, перецеловал стариков и спавших в горнице детишек, стал посреди кухни.

— Ну, как пережили? Все благополучно? — спросил, задыхаясь от волнения.

— Слава богу, сынок, страху повидали, а так чтобы даже забижать — этого не было, — торопливо ответила Ильинична и, косо глянув на заплаканную Наталью, сурово крикнула ей: — Радоваться надо, а ты кричишь, дура! Ну, не стой же без дела! Неси дров, печь затоплять...

Пока они с Натальей спешно готовили завтрак, Пантелей Прокофьевич принес сыну чистый рушник, предложил: — Ты умойся, я солью на руки. Оно голова-то и посвежеет... Шибает от тебя водочкой. Должно, выпил вчера на радостях?

— Было дело. Только пока неизвестно: на радостях или при горести...

— Как так? — несказанно удивился старик.

— Да уж даже Секретев злует на нас.

— Ну, это не беда. Неужли и он выпивал с тобой?

— Ну-да.

— Скажи на милость! В какую ты честь попал, Гришка! За одним столом с настоящим генералом! Подумать только! — И Пантелей Прокофьевич, умиленно глядя на сына, с восхищением поцокал языком.

Григорий улыбнулся. Уж он-то никак не разделял наивного стариковского восторга.

Степенно расспрашивая о том, в сохранности ли скот' и имущество и сколько потравили зерна, — Григорий замечал, что разговор о хозяйстве, как прежде, не интересует отца. Что-то более важное было у старика на уме, что-то тяготило его.

И он не замедлил высказаться:

— Как же, Гришенька, теперича быть? Неужли опять придется служить?

— Ты про кого это?

— Про стариков. К примеру, хоть меня взять.

— Пока неизвестно.

— Стало быть, надо выступать?

— Ты можешь остаться.

— Да что ты! — обрадованно воскликнул Пантелей Прокофьевич и в волнении захромал по кухне.

— Усядься ты, хромой бес! Сор-то не гребн ногами по хате! Возрадовался, забегал, как худой шенок! — строго прикрикнула Ильинична.

Но старик и внимания не обратил на окрик. Несколько раз проковылял он от стола до печки, улыбаясь и потирая руки. Тут его настигло сомнение:

— А ты можешь дать освобождение?

— Конечно, могу.

— Бумажку напишешь?

— А то как же!

Старик замаялся в нерешительности, но все же спросил:

— Бумажка-то, как она... Без печати-то? Али, может, и печать при тебе?

— Сойдет и без печати! — улыбнулся Григорий.

— Ну, тогда и гутарить нечего! — снова повеселел старик. — Дай бог тебе здоровья! Сам-то когда думаешь ехать?

— Завтра.

— Частя твои пошли вперед? На Усть-Мелведицу?

— Да. А за себя, батя, ты не беспокойся. Все равно вскорости таких, как ты, стариков, будут спускать по домам. Вы свое уж отслужили.

— Дай-то бог! — Пантелей Прокофьевич перекрестился и, как видно, успокоился окончательно.

Проснулись детишки. Григорий взял их на руки, усадил к себе на колени и, целуя их поочередно, улыбаясь, долго слушал веселое щебетанье.

Как пахнут волосы у этих детишек! Солнцем, травой, теплой подушкой и еще чем-то бесконечно родным. И сами они — эта плоть от плоти его — как крохотные степные птицы. Какими неумелыми казались большие, черные руки отца, обнимавшие их. И до чего же чужим в этой мирной обстановке выглядел он — всадник, на сутки покинувший коня, насквозь пропитанный едким духом солдатчины и конского помета, горьким запахом походов и ремешной амуниции...

Глаза Григория застилала туманная дымка слез, под усами дрожали губы... Раза три он не ответил на вопросы отца и только тогда подошел к столу, когда Наталья тронула его за рукав гимнастерки.

Нет, нет, Григорий положительно стал не тот! Он никогда ведь не был особенно чувствительным и плакал редко даже в детстве. А тут — эти слезы, глухие и частые удары сердца и такое ощущение, будто в горле беззвучный бьется колокольчик... Впрочем, все это могло быть и потому, что он много пил в эту ночь и провел ее без сна...

Пришла Дарья, прогонявшая коров на выгон. Она подставила Григорию улыбающиеся губы и, когда он, прутливым жестом разгладил усы, приблизил к ней лицо, закрыла глаза. Григорий видел, как, словно от ветра, дрогнули ее ресницы, и на миг ощутил пряный запах помады, исходивший от ее неблекнувших щек.

А вот Дарья была все та же. Кажется, никакое горе не было в силах не только сломить ее, но даже пригнуть к земле. Жила она на белом свете, как красноталовая хворостинка: гибкая, красивая и доступная.

— Приветшь? — спросил Григорий.

— Как придорожная белена! — прижмурив лучистые глаза, ослепительно улыбнулась Дарья. И тотчас же подошла к зеркалу поправить выбившиеся из-под платка волосы, прихорошиться.

Такая уже она была, Дарья. С этим, пожалуй, ничего нельзя было поделывать. Смерть Петра словно подхлестнула ее, и, чуть оправившись от перенесенного горя, она стала еще жаднее к жизни, еще внимательнее к своей наружности.

Разбудили спавшую в амбаре Дуняшку. Помолаясь, всей семьей сели за стол.

— Ох, и постарел же ты, братушка! — сожалеюще сказала Дуняшка. — Серый какой-то стал, как бирюк.

Григорий через стол молча и без улыбки посмотрел на нее, а потом сказал:

— Мне так и полагается. Мне стареть, тебе в пору входить, жениха искать... Только вот что я тебе скажу: о Мишке Кошевом с нынешнего дня и думать позабудь. Если услышу, что ты и после этого об нем сохнеть будешь, — на одну ногу наступлю, а за другую возьмусь — так и раздеру, как лягушонка! Поняла?

Дуняшка вспыхнула, как маков цвет, — сквозь слезы посмотрела на Григория.

Он не сводил с нее злого взгляда, и во всем его ожесточившемся лице — в ощеренных под усами зубах, в суженных глазах — еще ярче проступило врожденное мелеховское, звероватое.

Но и Дуняшка была этой породы: оправившись от смущения и обиды, она тихо, но решительно сказала:

— Вы, братушка, знаете? — сердцу не прикажешь!

— Вырвать надо такое сердце, какое тебя слушаться не будет, — холодно посоветовал Григорий.

«Не тебе бы, сынок, об этом гутарить...» — подумала Ильинична. Но тут в разговор вступил Пантелей Прокофьевич. Грохнув по столу кулаком, заорал:

— Ты, сукина дочь, щип у меня! А то я тебе такое сердце пропишу, что и

волос с головы не соберешь! Ах ты, паскула этакая! Вот пойду зараз, возьму возжи...

— Батенка! Возжей-то ни одних у нас не осталось. Все забрали! — со смиренным видом прервала его Дарья.

Пантелей Прокофьевич бешено сверкнул на нее глазами и, не сбавляя голоса, продолжал отводить душу:

— ... Возьму чересседельню — так я тебе таких чертей...

— И чересседельню красные тоже взяли! — уже громче встала Дарья, попрежнему глядя на свекора невинными глазами.

Этого Пантелей Прокофьевич снести уже не мог. Секунду глядел он на споху, багровея в немой ярости, молча зевая широко раскрытым ртом (был похож он в этот миг на вытасенного из воды судака), а потом хрипло крикнул:

— Замолчи, проклятая, сто чертей тебе в душу! Слова не дадут сказать! Да что это такое? А ты, Дунька, так и звай: сроду не бывать этому делу! Отцовским словом тебе говорю! И Григорий правильно сказал: об таком подлеще будешь думать — так тебя и убить мало! Нашла присуху! Запек ей душу висельник! Полхутора спалил, немощных стариков расстреливал — да ништо ж это человек? Да чтобы такой христородавец был моим затем?! Попадись он мне зараз — своей рукой смерти предам! Только пикни ишо: возьму шелужину, так я тебе...

— Их, шелужининов-то, на базу днем с огнем не сыщешь, — со вздохом сказала Ильинична. — По базу хоть шаром покати, хворостины на растопку, и то не найдешь. Вот до чего дожили!

Пантелей Прокофьевич и в этом бесхитроном замечании усмотрел злой умысел. Он глянул на старуху остовившимися глазами, вскочил, как сумасшедший, выбежал на баз.

Григорий бросил ложку, закрыл лицо рушником и трясся в беззвучном хохоте. Злоба его прошла, и он смеялся так, как не смеялся давным-давно. Смеялись все, кроме Дуняшки. За столом царило веселое оживление. Но, как только по крыльцу затоптал Пантелей Прокофьевич, лица у всех сразу стали серьезные. Старик ворвался ураганом, волоча за собой длиннейшую ольховую жердь.

— Вот! Вот! На всех на вас, на проклятых, языкастых, хватит! Ведьмы

длиннохвостые!.. Шелужины пету?! А это что? И тебе, старая чертовка, достанется! Вы ее у меня отпробуете!..

Жердь не помешалась в кухне, и старик, опрокинув чугун, с грохотом бросил ее в сенцы, — тяжело дыша, присел к столу.

Настроение его было явно испорчено. Он сопел и ел молча. Молчали и остальные. Дарья не поднимала от стола глаз, боясь рассмеяться. Ильинична вздыхала и чуть слышно шептала: «О, господи, господи! Грехи наши тяжкие!». Одной Дуняшке было не до смеха, да Наталья, в отсутствие старика улыбающаяся какой-то вымученной улыбкой, снова стала сосредоточенна и грустна.

— Соли подай! Хлеба! — изредка и грозно рычал Пантелей Прокофьевич, обводя домашних сверкающими глазами.

Семейная передерга закончилась довольно неожиданно. При всеобщем молчании Мишатка сразил деда новой обидой. Он не раз слышал, как бабка в ссоре обзывала деда всяческими бранными словами, и, по-детски глубоко взволнованный тем, что дед собирался бить всех и орал на весь курень, — трюха ноздрями, вдруг звонко сказал:

— Развоевался, хромой бес! Дрючком бы тебя по голове, чтоб ты не пужал нас с бабуней!..

— Это ты меня... то-есть деда... так?

— Тебя! — мужественно подтвердил Мишатка

— Да нешто родного деда можно... такими словами?!

— А ты чего шумишь?

— Каков вражененок? — поглаживая бороду, Пантелей Прокофьевич изумленно обвел всех глазами. — А это все от тебя, старая карга, таких слов наслукался! Ты научаешь!

— И кто его научает? Весь в тебя да в папану необузданный! — сердито оправдывалась Ильинична.

Наталья встала и отшлепала Мишатку, приговаривая:

— Не учишь так гутарить с дедом! Не учишь!

Мишатка заревел, уткнулся лицом в колени Григория. А Пантелей Прокофьевич, души не чаявший во внуках, вскочил из-за стола и, прослезившись, не вытирая струившихся по бороде слез, радостно закричал:

— Гришка! Сынок! Фитинóв твоей матери! Верное слово старуха сказала! Наш! Мелеховских кровей!.. Вот она, когда кровь сказалась-го!.. Этот никому не смолчит!.. Внучек! Родимый мой!.. На бей старого дурака, чем хошь!.. Тягай его за бороду!.. — И старик, выхватив из рук Григория Мишатку, высоко поднял его над головой.

Окончив завтрак, встали из-за стола. Женщины начали мыть посуду, а Пантелей Прокофьевич закурил, сказал, обращаясь к Григорию:

— Оно вроде и неудобно просить тебя, ты ить у нас — гость, да делать нечего... Пособи плетни поставить, гумно загородить, а то сквозь все повале-но, а чужих зараз не допросишься. У всех одинаково все рухнулось.

Григорий охотно согласился, и они вьвоем до обеда работали на базу, при-водя в порядок огорожу.

Врывая стоянки на огороде, старик спросил:

— Понос начнется, что не видно, и не знаю — прикупать травы али нет. Ты как скажешь в счет хозяйства? Стоит дело хлопотать? А то, может, че-рез месяц красные опять припожалуют, и все сызнова пойдет к чертям на вы-делку?

— Не знаю, батя, — откровенно со-знался Григорий. — Не знаю, чем оно обернется и кто кого придолеет. Живи так, чтобы лишнего ни в закромах, ни на базу не было. По понешним време-нам все это ни к чему. Вон возьми тес-тя: всю жизнь хрип гнул, наживал, жилы из себя и из других выматывал, а что осталось? Одни горелые пеньки на базу!

— Я, парень, и сам так думаю, — подавив вздох, согласился старик.

И разговора о хозяйстве больше не заводил. Лишь после полудня, заметив, что Григорий с особой тщательностью приклячивает ворота на гумне, сказал с досадой и нескрываемой горечью:

— Делай абы как. Чего ты стара-ешься? Не век же им стоять!

Как видно, только теперь старик осознал всю тщетность своих усилий на-лаживать жизнь по-старому...

Перед закатом солнца Григорий бро-сил работу, пошел в дом. Наталья была одна в горнице. Она принарядилась, как на праздник. На ней ловко сидели синяя шерстяная юбка и поплиновая го-лубенькая кофточка с прошивкой на

груди и с кружевными манжетами. Ли-цо ее тонко розовело и слегка досни-лось оттого, что она недавно умывалась с мылом. Она что-то искала в сундуке, но при виде Григория опустила крыш-ку, с улыбкой выпрямилась.

Григорий сел на сундук, сказал:

— Присяжь на-час, а то завтра уеду и не погутарим.

Она покорно села рядом с ним, по-смотрела на него сбоку чуть-чуть испу-ганными глазами. Но он неожиданно для нее взял ее за руку, ласково ска-зал:

— А ты гладкая, как будто и не хворала.

— Поправилась... Мы, бабы, живу-щие, как кошки, — сказала она, несме-ло улыбаясь и наклоняя голову.

Григорий увидел нежно розовеющую, покрытую пухом мочку уха и в про-светах между прядями волос желтова-тую кожу на затылке, спросил:

— Лезут волосы?

— Вылезли почти все. Облиняла, скоро лысая буду.

— Давай я тебе голову побрею сей-час? — предложил вдруг Григорий.

— Что ты! — испуганно воскликну-ла она. — На что же я буду тогда по-хожа?

— Надо побриться, а то волосы не будут расти.

— Маманя сулила остричь меня полжипами, — смущенно улыбаясь, сказала Наталья и проворно накинула на голову снежно-белый, густо подси-ненный платок.

Она была рядом с ним, его жена и мать Мишатки и Полюшки. Для него она принарядилась и вымыла лицо. То-ропливо накинув платок, чтобы не бы-ло видно, как безобразна стала ее го-лова после болезни, слегка склонив голову набок, сидела она такая жалкая, некрасивая и все же прекрасная, сия-ющая какой-то чистой внутренней кра-сотой. Она всегда носила высокие во-ротнички, чтобы скрыть от него шрам, некогда обезобразивший ее шею. Все это из-за него... Могучая волна нежности залила сердце Григория. Он хотел ска-зать ей что-то теплое, ласковое, но не нашел слов и, молча притянув ее к себе, поцеловал белый покатый лоб и скорбные глаза.

Нет, раньше никогда он не баловал ее лаской. Аксинья застлала ее всю жизнь. Потрясенная этим проявлением

чувства со стороны мужа и вся вспыхнувшая от волнения, она взяла его руку, поднесла к губам.

Минуту они сидели молча. Закатное солнце роняло в горницу багровые лучи. На крыльце шумели детиски. Слышно было, как Дарья вынимала из печи обжаривавшиеся корчажки, недовольно говорила свекрови: «Вы и коров-то, небось, не каждый день доили. Что-то старая меньше дает молока...».

С погаса возвращался табун. Мычали коровы, шелкали волосяными нахвостниками кнутов ребята. Хрило и прерывисто ревел хуторской бугай. Шелковистый подгрудок его и литая, покатая спина в кровь были искусацы оводами. Бугай зло помахивал головой; на-ходу поддев на свои короткине, широко расставленные рога астаховский плетень, опрокинул его и пошел дальше. Наталья глянула в окно, сказала:

— А бугай тоже отступал за Дон. Маманя рассказывала: как только застреляли в хуторе, он прямо со стойла переплыл Дон, в луке и спасался все время.

Григорий молчал, задумавшись. Почему у нее такие печальные глаза? И еще что-то тайное, неумовное то появлялось, то исчезало в них. Она и в радости была грустна и как-то непопята... Может быть, она прослышала о том, что он в Вешенской встречался с Аксиньей? Наконец он спросил:

— С чего это ты нынче такая пасмурная? Что у тебя на сердце, Наташа? Ты бы сказала, а?

И ждал слез, упреков... Но Наталья испуганно ответила:

— Нет, нет, тебе так показалось, я ничего... Правда, я ншо не совсем поздоровела. Голова кружится, п, ежли нагнусь или подыму что, — в глазах темнеет.

Григорий испытующе посмотрел на нее и снова спросил:

— Без меня тут тебя ничего?.. Не трогали?

— Нет, что ты! Я же все время лежала хворая. — И глянула прямо в глаза Григорию и даже чуть-чуть улыбнулась. Помолчав, она спросила: — Ра-но завтра тронешься?

— С рассветом.

— А передневать нельзя? — в голове Натальи прозвучала неуверенная, робкая надежда.

Но Григорий отрицательно покачал головой, и Наталья со вздохом сказала: — Зараз тебе как... погоны надо надевать?

— Прийдется.

— Ну, тогда сыми рубаху, пришью их, пока видно.

Григорий, крикнув, снял гимнастерку. Она еще не просохла от пота. Влажные пятна темнели на спине и на плечах, там, где остались натерты до глянца полосы от боевых наплечных ремней. Наталья достала из сундука выгоревшие на солнце защитные погоны, спросила:

— Эти?

— Эти самые. Соблюла?

— Мы сундук зарывали, — продевая в угольное ушко нитку, невнятно сказала Наталья, а сама украдкой поднесла к лицу пропыленную гимнастерку и с жалостью вдохнула такой родной, солоноватый запах пота...

— Чего это ты? — удивленно спросил Григорий.

— Тобой пахнет... — блестя глазами, сказала Наталья и наклонила голову, чтобы скрыть внезапно проступивший на щеках румянец, стала проворно орудовать иглой.

Григорий надел гимнастерку, нахмурился, пошевелил плечами.

— Тебе с ним лучше! — сказала Наталья, с нескрываемым восхищением глядя на мужа.

Но он косо посмотрел на свое левое плечо, вздохнул:

— Век бы их не вить. Ничего-то ты не понимаешь!

Они еще долго сидели в горнице на сундуке, взявшись за руки, молча думая о своем.

Потом, когда смерклось и лиловые густые тени от построек легли на остывшую землю, пошли в кухню вечерять.

И вот прошла ночь. До рассвета полыхали на небе зарницы, до белой зорьки гремели в вишневом саду соловьи. Григорий проснулся, долго лежал с закрытыми глазами, вслушиваясь в певучие п сладостные соловьиные выщелки, а потом тихо, стараясь не разбудить Наталью, встал, оделся, вышел на баз.

Пантелей Прокофьевич выкармливал строевого коня, услужливо предложил:

— Сем-ка я его сжожу испукаю перед походом?

— Обойдется, — сказал Григорий, ежась от предутренней сырости.

— Хорошо выспался? — осведомился старик.

— Дюже спал! Только вот соловушки побудили. Беда, как они разорялись всю ночь!

Пантелей Прокофьевич снял с коня торбу, улыбнулся:

— Им, парнишша, только и делов. Иной раз позавидуешь этим божьим птахам... Ни войны им, ни разору...

К воротам под'ехал Прохор. Был он свежо выбрит и, как всегда, весел и разговорчив. Привязав чумбур к сохе, подошел к Григорию. Парусиновая рубаха его гладко выутюжена. На плечах новехонькие погоны.

— И ты погоны нацепил, Григорий Пантелевич? — крикнул он, подходя. — Долежались, проклятые! Теперь их нам носить не износить! До самой погибели хватят! Я говорю жене: «Не пришивай, дура, насмерть. Чудок приколни, лишь бы ветром не сорвало, и хорош!». А то наше дело какое? Попадешь в плен, и сразу по лычкам смикитят, что я — чин хоть и не офицерский, а все же старшего урядника имею. «А, скажут, такой-сякой, умел заслуживать — умей и голову подставлять!». Видал, на чем они у меня завесли? Умора!

Погоны Прохора действительно были пришиты на живую нитку и еле-еле держались.

Пантелей Прокофьевич захохотал. В седваторой бороде его блеснули не тронутые временем белые зубы:

— Вот это служивый! Стал-быть, чуть чего — и долой погоны?

— А ты думаешь — как? — усмехнулся Прохор.

Григорий, улыбаясь, сказал отцу:

— Видал, батя, каким вестовым я раздобылся? С этим в беду попадешь — сроду не пропадешь!

— Да ить оно, как говорится, Григорий Пантелевич... Умри ты нынче, а я завтра, — оправдываясь, сказал Прохор и легко сорвал погоны, небрежно сунул их в карман. — К фронту под'едем, там их и пришить можно.

Григорий наскоро позавтракал, — попрощался с родными.

— Храни тебя парица небесная! — истуленно зашептала Ильинична, пелуя сына. — Ты ить у нас один остался...

— Ну, дальние проводы — лишние слезы. Прощайте! — дрогнувшим голосом сказал Григорий и подошел к коню.

Наталья, накинув на голову черную свекровьину косынку, вышла за ворота. За подол ее юбки держались детипки. Пояшшка неутешно рыдала, захлебываясь слезами, просила мать:

— Не пускай его! Не пускай, маманюшка! На войне убивают! Папанька, не езди туда!

У Мишатки дрожали губы, но — нет, он не плакал. Он мужественно сдерживался, сердито говорил сестренке:

— Не бреши, дура! И вовсе там не всех убивают!

Он крепко помнил дедовы слова, что казаки никогда не плачут, что казакам плакать — великий стыд. Но, когда отец, уже сидя на коне, поднял его на седло и поцеловал, — с удивлением заметил, что у отца мокрые ресницы. Тут Мишатка не выдержал испытания: градом покатылись из глаз его слезы! Он спрятал лицо на опоясанной ремнями отцовской груди, крикнул:

— Нехай лучше дед едет воевать! На что он нам сдался!.. Не хочу, чтобы ты!..

Григорий осторожно опустил сынишку на землю, тылом ладони вытер глаза и молча тронул коня.

Сколько раз боевой конь, круто повернувшись, взрыв копытами землю возле родимого крыльца, нес его по шляхам и степному бездорожью на фронт, туда, где черная смерть метит казаков, где, по словам казачьей песни, «страх и горе каждый день, каждый час», — а вот никогда Григорий не покидал хутора с таким тяжелым сердцем, как в это ласковое утро.

Томимый неясными предчувствиями, гнетущей тревогой и тоской, ехал он, кинув на лугу поводья, не глядя назад, до самого бугра. На перекрестке, где пыльная дорога сворачивала к ветряку, оглянулся. У ворот стояла одна Наталья, и свежий предутренний ветерок рвал из рук ее черную траурную косынку.

Плыли,плыли в синей омутной глубине вспененные ветром облака. Струилось марево над волнистой кромкой горизонта. Кони шли шагом. Прохор дремал, покачиваясь в седле. Григорий,



стиснув зубы, часто оглядывался. Сначала он видел зеленые кусты верб, серебряную, прихотливо извивавшуюся ленту Дона, медленно взмахивавшие крылья ветряка. Потом шлях отошел на юг. Скрылись за вытоптанными хлебами займище, Дон, ветряк... Григорий насвистывал что-то, упорно смотрел на золотисто-рыжую шею коня, покрытую мелким бисером пота, и уже не поворачивался в седле... Чорт с ней, с войной! Были бои по Чире, прошли по Дону, а потом загремят по Хопру, по Медведице, по Бузулуку. И — в конце-концов — не все ли равно, где кинет его на землю вражеская пуля? — думал он.

## ГЛАВА IX

Бой шел на подступах к станице Усть-Медведицкой. Глухой орудейный гул слышал Григорий, выбравшись с летника на Гетманский шлях.

Всюду по шляху виднелись следы спешного отступления красных частей. Во множестве попадались брошенные дуковки и брички. За хутором Матвеевским в логу стояло орудие с перебитой снарядом боевой осью и исковерканной люлькой. Постромки на вальгах передка были косо обрублены. В полуверсте от лога, на солончаках, на низкорослой, спаленной солнцем траве, густо лежали трупы бойцов в зашитых рубашках и штанах, в обмотках и тяжелых окованных ботинках. Это были красноармейцы, наступившие и порубленные казачьей конницей.

Григорий, проезжая мимо, без труда установил это по обилию крови, засохшей на покоробившихся рубашках, по положению трупов. Они лежали, как скошенная трава. Казаки не успели их раздеть, очевидно, лишь потому, что не прекращали преследования.

Возле куста боярышника запрокинулся убитый казак. На широко раскинутых ногах его рдели лампасы. Неподалеку валялась убитая лошадь светлогнедой масти, подселанная стареньким седлом с выкрашенным охрой левчиком.

Кони Григория и Прохора приустили. Их надо было подкормить, но Григорий не захотел останавливаться на месте, где недавно проходил бой. Он проехал еще с версту, спустился в балку, приостановил коня. Неподалеку виднелся пруд с размытой до материка плотиной.

Прохор поехал, было, к пруду с зачерствевшей и потрескавшейся землей у краев, но тотчас повернул обратно.

— Ты чего? — спросил Григорий.

— Подъезжай, глянь.

Григорий тронул коня к плотине. В промине лежала убитая жевшица. Липо ее было накрыто подолом синей юбки. Полные белые ноги с загорелыми икрами и с ямочками на коленях были бесстыдно и страшно разлвинуты. Левая рука подвернута под спину.

Григорий торопливо спешился, снял фуражку, нагнулся и поправил на убитой юбку. Смуглое молодое лицо было красиво и после смерти. Под страдальчески изогнутыми черными бровями тускло мерцали ползакрытые глаза. В оскале мягко очерченного рта перламутром блестя стиснутые плотно зубы. Тонкая пряля волос прикрывала прижатую к траве щеку. И по этой щеке, на которую смерть уже кинула шафранно-желтые, блеклые тени, позлази сусливые муравьи.

— Какую красоту загубили, сукины сыны! — вполголоса сказал Прохор.

С минуту он молчал, потом с ожесточенным сплюнул:

— Я бы таких... таких умников в стенке становил! Поедем отсюда, рали бога! Я на нее глядеть не могу. У меня сердце переворачивается!

— Может, похороним ее? — спросил Григорий.

— Да мы что, подряд взяли всех мертвых хопонить? — возмущился Прохор. — В Ягодном деда какого-то зарывали, тут эту бабу... Нам их всех ежели похоронять, так и музлей на руках нехватит! А могилку чем копать? Ее, брат, пашкой не выраешь, земля от жары на аршин заклекла.

Прохор так спешил, что насилу попал носком сапога в стремя.

Снова выехали на бугор, и тут Прохор, напряженно о чем-то думавший, спросил:

— А что, Пантелевич, не хватит кровинку-то наземь цедить?

— Почти-что.

— А как, по твоему разумению, скоро это прикончится?

— Как набьют нам, так и прикончится.

— Вот веселая жизнь заступила, да чорт ей рад! Хоть бы скорей набили, что ли. В германскую, бывало, самострел палец себе отобьет, и спускают

его по чистой домою, а зараз хоть всю руку оторви себе, — все одно заставит служить. Косоруких в строй берут, хромых берут, косых берут, грызных берут, всякую сволочь берут, лишь бы на двух ногах тилипал. Да разве же так она, война, прикончится? Чорт их всех перебьет! — с отчаянием сказал Прохор и сехал с дороги, спешился, бормоча что-то вполголоса, начал отпущать коню подпруги.

В хутор Хованский, расположенный неподалеку от Усть-Медведицкой, Григорий приехал ночью. Выставленная на краю хутора застава 3-го полка задержала его, но, опознав по голосу своего командира дивизии, казаки, на вопрос Григория сообщили, что штаб дивизии находится в этом же хуторе и что начальник штаба сотник Копылов ждет его с часу на час. Словоохотливый начальник заставы отрядил одного казака, поручив ему проводить Григория до штаба, напоследок сказал:

— Дюже они укрепились, Григорий Пантелевич, и должно, не скоро мы заберем Усть-Медведицу. А там, конечно, кто его знает... наших сил тоже достаточно. Гутарят, будто англичкине войска илут с Морозовской. Вы не слышали?

— Нет, — трогая коня, ответил Григорий.

В доме, занятом под штаб, ставни были наглухо закрыты. Григорий подумал, что в комнатах никого нет, но войдя в коридор, услышал глухой оживленный говор. После ночной темноты свет большой лампы, висевшей в горнице под потолком, ослепил его, в носзри уларил густой и горький запах махорочного дыма.

— Накопей-то в ты! — обрадованно проговорил Копылов, появляясь откуда-то из сизого табачного облака, клубившегося над столом. — Заждались мы, брат, тебя!

Григорий поздоровался с присутствующими, снял шинель и фуражку, прошел к столу.

— Ну, и накурили! Не продыхнешь. Откройте же хучь одно окошко, что вы запечатались! — морщась, сказал он.

Сплевший рядом с Копыловым Харлампий Ермаков улыбнулся:

— А мы принюхались и не чуем.

И, выдавив локтем оконный глазок, с силой распахнул ставню.

В комнату хлынул свежий ночной воздух. Огонь в лампе ярко вспыхнул и погас.

— Вот это по-хозяйски! На что же ты стекло выдавил? — с неудовольствием сказал Копылов, шаря по столу руками. — У кого есть спички? Осторожней, тут возле карты чернило.

Зажгли лампу, прикрыли створку окна, и Копылов торопливо заговорил:

— Обстановка на фронте, товарищ Мелехов, на нынешний день такова: красные удерживают Усть-Медведицкую, прикрывая ее с трех сторон силами, приблизительно, в четыре тысячи штыков. У них достаточное количество артиллерии и пулеметов. Возле монастыря и еще в ряде мест ими порыты траншеи. Обдонские высоты заняты ими. Ну, и позиции их, нельзя сказать чтобы были неприступные, но, во всяком случае, довольно-таки трудные для овладения. С нашей стороны, кроме дивизии генерала Фицхелаурова, и двух штурмовых офицерских отрядов, подошла целиком шестая бригада Богатырева и наша первая дивизия. Но она не в полном составе, пешего полка нет, он где-то еще под Усть-Хоперской, а конные прибыли все, но в сотнях состав далеко не комплектный.

— К примеру, у меня в полку в третьей сотне только тридцать восемь казаков, — сказал командир 4-го полка подхорунжий Дударев.

— А было? — осведомился Ермаков.

— Было девяносто опп.

— Как же ты позволил распустить сотню? Какой же ты командир? — хмурясь и барабая пальцами по столу, спросил Григорий.

— А чорт их удержит! Расстреляли по хуторам, на провед поехали. Но зараз подтягиваются. Ноне прибегли трое.

Копылов подвинул Григорию карту, — указывая мизинцем на месторасположение частей, продолжал:

— Мы еще не втянулись в наступление. У нас только второй полк вчера в пешем строю наступал на этом вот участке, но неудачно.

— Потери большие?

— По логесению командира полка, у него за вчерашний день выбыло убитыми и ранеными двадцать шесть человек.

Так вот о соотношении сил: у нас численный перевес, но для поддержки наступления пехоты нехватает пулеметов, плохо со снарядами. Их начальник боепитания обещал нам, как только подвезут, четыреста снарядов и полтораста тысяч патронов. Но ведь это когда они придут, а наступать надо завтра же, таков приказ генерала Фицхелаурова. Он предлагает нам выделить полк для поддержки штурмовиков. Они вчера четыре раза ходили в атаку и понесли огромные потери. Чертовски настойчиво дрались! Так вот, Фицхелауров предлагает усилить правый фланг и перенести центр удара сюда, видишь? Здесь местность позволяет подойти к окопам противника на сто — сто пятьдесят сажен. Кстати, только-что уехал его адъютант. Он привез нам с тобой устное распоряжение прибыть завтра к шести утра на совещание для координирования действий. Генерал Фицхелауров и штаб его дивизии сейчас в хуторе Большом Сенином. Задача, в общем, сводится к тому, чтобы немедленно сбить противника до подхода его подкреплений со станции Себряково. По той стороне Дона наши не очень-то активны... Четвертая дивизия переправилась через Хопер, но красные выставили сильные заслоны и упорно удерживают пути к железной дороге. А сейчас пока они навели понтонный мост через Дон и спешно вывозят из Усть-Медведицкой снаряжение и боеприпасы.

— Казаки болтают, будто союзники идут, верно это?

— Есть слух, что из Чернышевской идет несколько английских батарей и танков. Но вот вопрос: как они эти танки будут через Дон переправлять? Помоему, насчет танков — это брехня! Давно уж о них разговаривают...

В горнице надолго установилась тишина.

Копылов расстегнул коричневый офицерский френч, подпер ладонями поросшие каштановой щетиной пухлые щеки, раздумчиво и долго жевал потухшую папироску. Широко расставленные, круглые, темные глаза его были устало прижмурены, красивое лицо измято бессонными ночами.

Когда-то учительствовал он в церковно-приходской школе, по воскресеньям ходил к станичным купцам в гости, перекидывался с купчихами в стуголку и с купцами по маленькой в преферанс,

мастерски играл на гитаре и был веселым, общительным молодым человеком; потом женился на молодой учительнице и так бы и жил в станице и наверняка дослужился бы до пенсии, но в великую войну его призвали на военную службу. По окончании юнкерского училища он был направлен на Западный фронт, в один из казачьих полков. Война не изменила характера и внешности Копылова. Было что-то безобидное, глубоко штатское в его полной, низкорослой фигуре, в добродушном лице, в манере носить пашку, в форме обращения с младшими по чину. В го- лосе его отсутствовал командный металл, в разговоре не было присущей военным сухой лаконичности выражений, офицерская форма сидела на нем мешковато, строевой подтянутости и выправки он так и не приобрел за три года, проведенных на фронте; все в нем изобличало случайного на войне человека. Больше походил он на разжиревшего обывателя, переодетого офицером, нежели на подлинного офицера, но, несмотря на это, казаки относились к нему с уважением, к его слову прислушивались на штабных совещаниях, и повстанческий комсостав глубоко ценил его за трезвый ум, покладистый характер и непоказную, неоднократно проявляемую в боях храбрость.

До Копылова начальником штаба у Григория был безграмотный и неумный хорунжий Кружилин. Его убили в одном из боев на Чире, и Копылов, приняв штаб, повел дело умело, расчетливо, толково. Он так же добросовестно просиживал в штабе над разработкой операций, как когда-то над исправлением ученических тетрадей, однако, в случае необходимости, по первому слову Григория бросал штаб, садился на коня и, приняв командование полком, вел его в бой.

Григорий вначале относился к новому начальнику штаба не без предвзятости, но за два месяца узнал его ближе и однажды после боя сказал напрямик: «Я о тебе погано думал, Копылов, зараз вижу, что ошибался, так ты вот чего, извиняй уж как-нибудь». Копылов улыбнулся, промолчал, но грубоватым этим признанием был очевидно польщен.

Лишенный честолюбия и устойчивых политических взглядов, к войне Копылов относился как к неизбежному злу и не чаял ее окончания. Вот и сейчас он

вовсе не размышлял о том, как развернутся операции по овладению Усть-Медведицкой, а вспомнил домашних, родную станицу и думал, что было бы неплохо закатиться домой в отпуск, месяца на полтора...

Григорий долго смотрел на Копылова, потом встал.

— Ну, братцы-атаманцы, давайте расходиться и спать. Нам нечего голову морочить об том, как брат Усть-Медведицу. За нас теперича генералы будут думать и решать. Поедем завтра к Фипхелаурову, нехай нас, горемык, уму-разуму поучит... А в счет второго полка думаю так: пока наша власть — нынче же командира полка Дударева надобно разжаловать, лишить всех чинов-орденов...

— И порции каши, — вставил Ермаков.

— Нет, без шуток, — продолжал Григорий, — надо нынче же его перевести в сотенные, а командиром послать Харлампия. Зарас же дуй, Ермаков, туда, примай полк и утром жди наших распоряжений. Приказ о смене Дударева напишет сейчас Копылов, вези его с собой. Я так гляжу, Дударев не управится. Ни черта он ничего не понимает, и как бы не похунул он казаков ишо раз под улар. Пеший бой — это дело такое... Тут нехитро людей в трату дать, ежели командир — бестолоч.

— Правильно. Я — за смену Дуларева, — поддержал Копылов.

— Ты что, Ермаков, против? — спросил Григорий, заметив некое неудовольствие на лице Ермакова.

— Да нет, я ничего. Мне уж и бровями двинуть нельзя?

— Тем лучше. Ермаков не против. Конный полк его возьмет пока Рябчиков. Пиши, Михайло Григорич, приказ и ложись позорой. В шесть чтобы был на ногах. Поедем к этому генералу. С собой беру четырех ординарцев.

Копылов удивленно поднял брови:

— Для чего их столько?

— Для вида! Мы ить тоже не лыком шиты, дивизией командуем. — Григорий, посмеиваясь, ворохнул плечами, вакинул внаашку шинель, пошел к выходу.

Он лег под навесом сарая, подстелив попонку, не разувався и не снимая шинели. На базу долго гомонили ординарцы, где-то близко фыркали и мерно жевали лошади. Пахло сухими кизеками и

не остывшей от дневного жара землей. Сквозь дремоту Григорий слышал голоса и смех ординарцев, слышал, как один из них, судя по голосу — молодой парень, седлая коня, со вздохом проговорил:

— Эх, братушки, да и набрыдло же! Ночь-полночь, — езжай с пакетом, ни сна тебе, ни покою... Да стой же ты, чертяка! Ногу! Ногу, говорят тебе!..

А другой глуховатый, простуженным басом вполголоса пропел:

— «Надоела ты нам, службица, надоскучила. Добрых коников ты наших призамучила...» — И перешел на просящую, деловитую скороговорку: — Всыпь на цыгарочку, Прощка! А и жадоба ж ты! Забыл, как я тебе под Белавином красноармейские ботинки отдал? Сволочь ты! За такую обувку другой бы век помнил, а у тебя и на цыгарку не выблазнишь!

Звякнули и загремели на конских зубах удила. Лошадь вздохнула всем нутром и пошла, сухо шелкая подковами по сухой и крепкой, как кремень, земле. «Все об этом гутарют... Надоела ты нам, службица, надоскучила» — улыбаясь, мысленно повторил Григорий и тотчас заснул. И как только заснул — увидел сон, снившийся ему и прежде: по бурому полю, по высокой стерне, идут пещи красноармейцев. Насколько видит глаз, протянулась передняя цепь. За ней еще шесть или семь пещей. В гнетущей тишине приближаются наступающие. Растут, увеличиваются черные фигурки, и вот уже видно, как спотыкающимся, быстрым шагом идут, идут, подходят на выстрел, бегут с винтовками наперевес люди в ушастых шапках, с безмолвно разверстыми ртами. Григорий лежит в неглубоком окопчике, судорожно двигает затвором винтовки, часто стреляет; под выстрелами его, запрокидываясь, падают красноармейцы; вгоняет новую обойму и, на секунду глянув по сторонам, видит: из соседних окопов вскакивают казаки. Они поворачиваются и бегут; липа их перекошены страхом. Григорий слышит страшное биение своего сердца, кричит: «Стреляйте! Сволочи! Куда?! Стой, не бегай!..». Он кричит изо всей силы, но голос его поразительно слаб, еле слышен. Ужас охватывает его! Он тоже вскакивает, уже стоя стреляет последний раз в немолодого, смуглого красноармейца, молча бегущего прямо на него,

и видит, что промахнулся. У красноармейца возбужденно-серьезное, бесстрашное лицо. Он бежит легко, почти не касаясь ногами земли, брови его сдвинуты, шапка на затылке, полы шинели подоткнуты. Какой-то миг Григорий рассматривает подбегающего врага, видит его блестящие глаза и бледные щеки, поросшие молодой курчавой бородкой, видит короткие, широкие голенища сапог, черный глазок чуть опущенного винтовочного дула и над ним колеблющееся в такт бега острие темного штыка. Непостижимый страх охватывает Григория. Он дергает затвор винтовки но затвор не поддается, его заело. Григорий в отчаянии бьет затвором о колено. — никакого результата! А красноармеец уже в пяти шагах. Григорий поворачивается и бежит. Впереди него все бурое, голое поле пестрит бегущими казаками. Григорий слышит сзади тяжелое дыхание преследующего, слышит звучный топот его ног, но убегать бег не может. Требуется страшное усилие, чтобы заставить безвольно подгибающиеся ноги бежать быстрее. Наконец он достигает какого-то полуразрушенного, мрачного кладбища, прыгает через поваленную изгородь, бежит между осевшими могилками, покосившимися крестами и часовенками. Еще одно усилие, и он спасется. Но тут топот сзади нарастает, звучнее. Горячее дыхание преследователя опалает шею Григория, и в тот же миг он чувствует, как его хватают за хлястик шинели и за полу. Глухой крик исторгает Григорий и просыпается. Он лежит на спине. Ноги его, сжатые тесными сапогами, затекли, на лбу холодный пот, все тело болит, словно от побоев. «Фу, ты, черт!..» — говорит он шепотом, с удовольствием вслушиваясь в собственный голос и еще не веря, что все только-что испытанное — сон. Затем поворачивается на бок, с головой укутывается шинелью, мысленно говорит: «Надо было подпустить его, отвести удар, сплести прикладом, а потом уж убежать...». Минуту он размышляет о приснившемся вторично сне, испытывая радостное волнение от того, что все это — только скверный сон и в действительности пока ничто ему не угрожает. «Диковинно, почему во сне это в десять раз страшнее, чем наяву? Сроду в жизни не испытывал такого страха, сколько ни приходилось бывать в перепахтах!» —

думает он, засыпая, и с наслаждением вытягивает затекшие ноги.

## ГЛАВА X

На рассвете его разбудил Копылов: — Вставай, пора собираться, ехать! Приказано ведь быть к шести часам.

Начальник штаба только-что побрился, вычистил сапоги и надел помятый, но чистый френч. Он, как вилло, спешил: пухлые щеки в двух местах порезаны бритвой. Но во всем его облике была видна какая-то ранее не свойственная ему шеголегатая подтянутость.

Григорий критически осмотрел его с ног до головы, подумал: «Ишь, как вышелкнулся! Не хочет к генералу явиться абы в чем!..».

Словно следя за ходом его мыслей, Копылов сказал:

— Неудобно являться неряхой. Советую и тебе привести себя в порядок.

— Продерет и так! — пробормотал Григорий, потягиваясь. — Так, говоришь, приказано быть к шести? Нам с тобой уж приказывать начинают?

Копылов, посмеиваясь, пожал плечами:

— Новое время — новые песни. По старшинству мы обязаны подчиниться. Фихелауров — генерал, не ему же к нам ехать.

— Оно-то так. К чему шли, к тому и пришли. — сказал Григорий и пошел к колодезю умываться.

Хозяйка бегом бросилась в дом, вынесла чистый расшитый рушник, с поклоном подала Григорию. Тот яростно потер концы рушника кирпично-красное, обожженное холодной водой лицо, сказал подошедшему Копылову:

— Оно-то так, только господам генералам надо бы вот о чем подумать: народ другой стал с революции, как, скажи, заново нарождается! А они все старым аршином меряют. А аршин, того и гляди, сломается.. Туговаты они на поворотах Колесной мази бы им в мозги, чтобы скрипу не было!

— Это ты насчет чего? — рассеянно спросил Копылов, сдвывая с рукава приставшую соринку.

— А насчет того, что все у них на старинку сбивается. Я вот имею офицерский чин с германской войны. Кровью его заслужил! А как попаду в

офицерское общество — так вроде как из хаты на мороз выйду в одних подштанниках. Таким от них холодом на меня поперет, что аж всей спиной его чую! — Григорий бешено сверкнул глазами и незаметно для себя повысил голос.

Копылов недовольно оглянулся по сторонам, шепнул:

— Ты потише, ординарлы слушают.

— Почему это так, спрашивается? — сбавив голос, продолжал Григорий. — Да потому, что я для них белая ворона. У них — руки, а у меня — от старых музлей — копыты! Они ногами шаркают, а я как ни повернусь — за все пепляюсь. От них личным мылом и разными бабьими притирками пахнет, а от меня конской мочой и потом. Они все ученые, а я со трудом церковную школу кончил. Я им чужой от головы до пяток. Вот все это почему! И выйду я от них, и все мне кажется, будто у меня на лице паутина наела: целою ктию мне и неприятно страшно, и все хочется пообчиститься. — Григорий бросил ружье на колодезный сруб, обломком костяной расчески причесал волосы. На смуглом лице его резко белел не тронутый загаром лоб. — Не хотят они понять того, что все старое рухнулось к едреной бабшке! — уже тише сказал Григорий. — Они думают, что мы из другого теста деланные, что неученый человек, как из простых, вроде скотины. Они думают, что в военном деле я, или такой как я, меньше их понимаем. А кто у красных командирами? Буденный — офицер? Вахмистр старой службы, — а не он генералам генерального штаба вкалывал? А не от него топал офицерские польки? Гусельщиков из казачьих генералов самый боевой, засланный генерал, а не он этой зимой в одних исподниках из Усть-Хоперской усакал? А знаешь, кто его пагнал на склизкое? Какой-то московский слесарек — командир красного полка. Пленные потом говорили об нем. Это надо понимать! А мы, неученые офицеры, аль плохо водили казаков в восстание? Много нам генералы помогали?

— Помогали немало, — значительно ответил Копылов.

— Ну, может, Кудиннову и помогали, а я ходил без помочей и бил красных, чужих советов не слушаясь.

— Так ты что же — науку в военном деле отрицаешь?

— Нет, я науки не отрицаю. Но, брат, не она в войне главное.

— А что же, Пантелеевич?

— Дело, за какое в бой илешь.

— Ну, это уж другой разговор... — Копылов, настоительно улыбаясь, сказал: — Само собою разумеется... Идея в этом деле — главное. Побеждает только тот, кто твердо знает, за что он сражается, и верит в свое дело. Истина эта стара, как мир, и ты напрасно выдаешь ее за сделанное тобою открытие. Я за старое, за доброе старое время. Будь иначе, я и пальцем бы не ворохнул, чтобы итти куда-то и за что-то воевать. Все, кто с нами, — это люди, отстаивающие силой оружия свои старые привилегии, усмиряющие взбунтовавшийся народ. В числе этих усмирителей и мы с тобой. Но, я вот давно к тебе приглядываюсь, Григорий Пантелеевич, и не могу тебя понять...

— Потом поймешь. Давай ехать, — бросил Григорий и направился к сараю.

Хозяйка, караулившая каждое движение Григория, — желая угодить ему, предложила:

— Может, молочка бы выпили?

— Спасибо, мамаша, времени нету молочки распивать. Как-нибудь потом.

Проход Зыков около сарая истово хлебал из чашки кислое молоко. Он и глазом не мигнул, глядя, как Григорий отвязывает коня. Рукавом рубахи вытер губы, спросил:

— Далеко поедешь? И мне с тобой?

Григорий вскипел, с холодным бесенством сказал:

— Ты, зараза, так и этак тебе в душу, службы не знаешь? Почему конь заузданный стоит? Кто должен коня мне полать? Прорва чортова! Все жрешь, никак не нажрешься! А ну, брось ложку! Дисциплины не знаешь!.. Ляда чортова!

— И чего ты расходишься? — обижено бормотал Проход, угнездившись в седле. — Орешь, а все зря. Тоже не велик в перьях! Что ж, мне и перекусить пельзя перед дорогой? Ну, чего шумишь-то?

— А того, что ты с меня голову съмаешь, требуха свинья! Как ты со мной



обращаешься? Зараз к генералу едем, так ты у меня гляди!.. А то привык за панибрата!.. Я тебе кто есть? Езжай пять шагов сзади! — приказал Григорий, выезжая из ворот.

Проход и трое остальных ординарцев притотали, и Григорий, ехавший рядом с Копыловым, — продолжая начатый разговор, насмешливо спросил:

— Ну, так чего ты не поймешь? Может, я тебе растолкую?

Не замечая насмешки в тоне голоса и в форме вопроса, Копылов ответил:

— А не пойму я твоей позиции в этом деле, вот что! С одной стороны ты — борец за старое, а с другой — какое-то, извини меня за резкость, какое-то подобие большевика.

— В чем это я — большевик? — Григорий нахмурился, рывком подвинулся в седле.

— Я не говорю — большевик, а некое подобие большевика.

— Один чорт. В чем? — спрашиваю.

— А хотя бы и в разговорах об офицерском обществе, об отношении к тебе. Чего ты хочешь от этих людей? Чего ты вообще хочешь? — добродушно улыбаясь и поигрывая плеткой, допытывался Копылов. Он оглянулся на ординарцев, что-то оживленно обсуждавших, заговорил громче: — Тебя обижает то, что они не принимают тебя в свою среду, как равноправного, что они относятся к тебе свысока. Но они правы со своей точки зрения, это надо понять. Правда, ты офицер, но офицер абсолютно случайный в среде офицерства. Даже нося офицерские погоны, ты остаешься, прости меня, неотесанным казаком. Ты не знаешь приличных манер, неправильно и грубо выражаешься, лишен всех тех необходимых качеств, которые присущи воспитанному человеку. Например: вместо того, чтобы пользоваться носовым платком, как это делают все культурные люди, ты сморкаешься при помощи двух пальцев, во время еды руки вытираешь то о голенища сапог, то о волосы, после умывания не брезгуешь вытереть лицо лошадиной попонкой, ногти на руках либо обкусываешь, либо срезаешь кончиком палочки. Или еще лучше: помнишь, зимой как-то в Каргиновской разговаривал ты при мне с одной интеллигентной женщиной, у которой мужа арестовали

казаки, и в ее присутствии застегивал штаны...

— Стал-быть, было лучше, если б я штаны оставил растегнутыми? — хмуро улыбаясь, спросил Григорий.

Лошади их шли шагом бок о бок, и Григорий искоса поглядывал на Копылова, на его добродушное лицо, и не без огорчения выслушивал его слова.

— Не в этом дело! — досадливо морщась, воскликнул Копылов. — Но как ты вообще мог принять женщину, будучи в одних брюках, босиком? Ты даже кителя на плечи не накинул, я это отлично помню! Все это, конечно, мелочи, но они характеризуют тебя как человека... Как тебе сказать...

— Да уж говори как проще!

— Ну, как человека крайне невежественного. А говоришь ты как? Ужас! Вместо квартира — фатера, вместо эвакуироваться — экуироваться, вместо как будто — кубить, вместо артиллерия — артилерия. И, как всякий безграмотный человек, ты имеешь необъяснимое пристрастие к звучным иностранным словам, употребляешь их к месту и не к месту, искажешь невероятно, а когда на штабных совещаниях при тебе произносятся такие слова из специфически военной терминологии, как дислокация, форсирование, диспозиция, концентрация и прочее, то ты смотришь на говорящего с восхищением и, я бы даже сказал, — с завистью.

— Ну уж это ты брешешь! — воскликнул Григорий, и веселое оживление прошло по его лицу. Глаза коня между ушей, почесывая ему под гривой шелковисто-теплую кожу, он попросил: — Ну, ваяй дальше, разделявай своего командира!

— Слушай, чего ж разделявать-то? И так тебе должно быть ясно, что ты с этой стороны неблагополучен. И после этого ты еще обижаешься, что офицеры к тебе относятся не как к равному. В вопросах приличий и грамотности ты, просто,—пробка!—Копылов сказал нечаянно сорвавшееся оскорбительное слово и испугался. Он знал, как не сдержан бывает Григорий в гневе, и боялся вспышки, но, бросив на Григория мимолетный взгляд, тотчас успокоился: Григорий, откинувшись на седле, беззвучно хохотал, сияя из-под усов ослепительным оскалом зубов. И так неожиданным был для Копылова результат

его слов, так заразителен смех Григория, что он сам рассмеялся, говоря. — Вот видишь, другой, разумный, плакал бы от такого разноса, а ты ржешь... Ну, не чудак ли ты?

— Так, говоришь, стало быть, пробка я? И чорт с вами! — отсмеявшись, проговорил Григорий. — Не желаю учиться вашим обхождениям и приличиям. Мне они возле быков будут ни к чему. А бог даст, — жив буду, — мне же с быками возиться и не с ними же мне расшаркиваться и говорить: «Ах, подвиньтесь, лысый! Извините меня, рябый! Разрешите мне поправить на вас ярмо? Милостивый государь, господин бык, покорнейше прошу не заламывать борозденного!». С ними надо покороче: поб-поба, вот и вся бычьяная дисклокация.

— Не дисклокация, а дислокация! — поправил Копылов.

— Ну, нехай дислокация. А вот в одном я с тобой не согласный.

— В чем это?

— В том, что я — пробка. Это я у вас — пробка, а вот, погоди, дай срок, перейду к красным, так у них я буду тяжелей свинца. Уж тогда не попадитесь мне приличные и образованные дармоеды! Души буду вынать прямо с потрохом! — полусутоя - полусерьезно сказал Григорий и тронул коня, переводя его сразу на крупную рысь.

Утро над Обдоньем вставало в такой тошко выпрядеиной тишине, что каждый звук, даже нерезкий, рвал ее и будил отголоски. В степи властвовали одни жаворонки да перепела, но в смежных хуторах стоял тот неумолчный негромкий роковитый шум, который обычно сопровождает передвижения крупных войсковых частей. Гремели на выбоинах колеса орудий и зарядных ящиков, возле колодцев ржали кони, согласно, глухо и мягко гоцали шаги проходивших пластунских сотен, погромывали брички и хода обывательских подвод, подвозивших к линии фронта боеприпасы и снаряжение: возле походных кухонь сладко пахло разопревшим пшеном, мясным кондёрном, слобренным лавровым листом, и свежее испеченным хлебом.

Под самой Усть-Медвельницкой трещала частая ружейная перестрелка, лениво и звучно бухали редкие орудийные выстрелы. Бой только-что начинался.

Генерал Фицхелауров завтракал, когда немолодой, потасканный вида, адъютант доложил:

— Командир первой повстанческой дивизии Мелехов и начальник штаба дивизии Копылов.

— Проси в мою комнату. — Фицхелауров большой жилистой рукой отодвинул тарелку, заваленную яичной скорлупой, неспеша выпил стакан парного молока и, аккуратно сложив салфетку, встал из-за стола.

Саженого роста, старчески грузный и рыхлый, он казался неправдоподобно большим в этой крохотной казачьей горенке с покосившимися прилоками дверей и подслеповатыми окошками. На ходу поправляя стоячий воротник безупречно сшитого мундира, гулко кашляя, генерал прошел в соседнюю комнату, коротко поклонился вставшим Копылову и Григорию и, не подавая руки, жестом пригласил их к столу.

Придерживая пашку, Григорий осторожно присел на краешек табурета, искоса глянул на Копылова.

Фицхелауров тяжело опустился на хрустнувший под ним венский стул, согнул голенастые ноги, положив на колени крупные кисти рук, густым, низким басом заговорил:

— Я пригласил вас, господа офицеры, для того, чтобы согласовать кое-какие вопросы... Повстанческая партизанщина кончилась! Ваши части перестают существовать как самостоятельное целое, да целым они, по сути, и не были. Фикция! Они вливаются в Донскую армию. Мы переходим в планомерное наступление, пора все это осознать и безоговорочно подчиняться приказам высшего командования. Почему, извольте ответить, вчера ваш пехотный полк не поддержал наступление штурмового батальона? Почему полк отказался идти в атаку, несмотря на мое приказание? Кто командир вашей, так называемой, дивизии?

— Я, — негромко ответил Григорий.

— Потрудитесь ответить на вопрос!

— Я только вчера прибыл в дивизию.

— Где вы изволили быть?

— Заезжал домой.

— Командир дивизии во время боевых операций изволил гостить дома! В дивизию — барлак! Распушенность! Безобразия! — Генеральский бас все

громче грохотал в тесной комнатухе; за дверями уже ходили на цыпочках и шептались, пересмеиваясь, адъютанты: щеки Копылова все больше и больше бледнели, а Григорий, глядя на побгровевшее лицо генерала, на его сжатые отечные кулаки, чувствовал, как и в нем самом просыпается неудержимая ярость.

Фицхелауров с неожиданной легкостью вскочил, — ухватясь за спинку стула, кричал:

— У вас не воинская часть, а красновардейский сброд!.. Отребье, а не казаки! Вам, господин Мелехов, не дивизией командовать, а денщиком служить!.. Сапоги чистить! Слышите вы?!.. Почему не был выношен приказ?! Митинга не провели? Не обсудили? Зарубите себе на носу: здесь вам не товарищи и большевистских порядков мы не позволим завозить!.. Не поз-во-лим!..

— Я прошу вас не орать на меня!—глухо сказал Григорий и встал, отодвинув ногой табурет.

— Что вы сказали?!.. — перегнувшись через стол, заливаясь от волнения, прохрипел Фицхелауров.

— Прошу на меня не орать! — громче повторил Григорий.—Вы вызвали нас для того, чтобы решать... — На секунду смолк, опустил глаза и, не отрывая взгляда от рук Фицхелаурова, сбавил голос почти до шопота: — Ежли вы, ваше превосходительство, спробуете тронуть меня хоть пальцем,—зарублю на месте!

В комнате стало так тихо, что отчетливо слышалось прерывистое дыхание Фицхелаурова. С минуту стояла тишина. Чуть скрипнула дверь. В щелку заглянул испуганный адъютант. Дверь так же осторожно закрылась. Григорий стоял, не снимая руки с эфеса пашки. У Копылова мелко дрожали колени, взгляд его блуждал где-то по стене. Фицхелауров тяжело опустился на стул, старчески покряхтел, буркнул:

— Хорошенькое дело! — И уже совсем спокойно, но не глядя на Григория: — Садитесь. Погорячились, и хватит. Теперь извольте слушать: приказываю вам немедленно перебросить все конные части... Да садитесь же!..

Григорий присел, рукавом вытер обильный пот, внезапно проступивший на лице.

— ...Так вот, все конные части немедленно перебросьте на юго-восточный

участок, и тотчас же идите в наступление. Правым флангом вы будете соприкасаться со вторым батальоном войскового старшины Чумакова...

— Дивизию я туда не поведу, — устало проговорил Григорий и полез в карман шаровар за платком. Кружевной натальной утиркой еще раз вытер пот со лба, повторил.—Дивизию туда не поведу.

— Это почему?

— Перегруппировка займет много времени...

— Это вас не касается. За исход операции отвечаю я.

— Нет, касается. и отвечаете не только вы...

— Вы отказываетесь выполнить мое приказание? — с видимым усилением сдерживая себя, хрипло спросил Фицхелауров.

— Да.

— В таком случае потрудитесь сейчас же сдать командование дивизией! Теперь мне понятно, почему не был выдан мой вчерашний приказ...

— Это уж как вам угодно, только дивизию я не дам.

— Как прикажете вас понимать?

— А так, как я сказал.—Григорий чуть заметно улыбнулся.

— Я вас отстраняю от командования!—Фицхелауров повысил голос, и тотчас же Григорий встал.

— Я вам не подчиняюсь, ваше превосходительство!

— А вы вообще-то кому-нибудь подчиняетесь?

— Да. командирующему повстанческими силами Кулинову подчиняюсь. А от вас мне все это даже удивительно слышать... Пока мы с вами на равных правах. Вы командуете дивизией, и я тоже. И пока вы на меня не шумите... Вот как только переведут меня в сотенные командиры, — тогда пожалуй-ста. Но драться... — Григорий поднял грязный указательный палец и, одновременно и улыбаясь, и бешено сверкая глазами, закончил: — ... драться и тогда не дам!

Фицхелауров встал, поправил дувший его воротник, с полупоклоном сказал:

— Нам больше не о чем разговаривать. Действуйте, как хотите. О вашем поведении я немедленно сообщу в штаб армии. И смею вас уверить: результаты не замедлят сказаться. Воен-

но-полевой суд у нас пока действует безотказно.

Григорий, не обращая внимания на отчаянные взгляды Копылова, нахлобучил фуражку, пошел к дверям. На пороге он остановился, сказал:

— Вы сообщайте куда следует, но меня не пугайте, я не из хололивых.. И пока не трожьте меня. — Подумал и добавил: — А то боюсь, как бы вас мои казаки не потрепали.. — Пинком отворил дверь, гремя шашкой, размашисто зашагал в сенцы.

На крыльце его догнал взволнованный Копылов.

— Ты с ума сошел. Пантелеевич! — шепнул он, в отчаянии сжимая руки.

— Коней! — зычно крикнул Григорий, комкая в руках плетъ.

Проход подлетел к крыльцу чертом.

Выехав за ворота, Григорий оглянулся: трое ординарцев, суетясь, помогали генералу Фицхеллаутову взобраться на высоченного, подседланного нарядным селом коня..

С полверсты скакали молча. Копылов молчал, понимая, что Григорий не расположен к разговору и спорить с ним сейчас небезопасно. Наконец Григорий не вытерпел:

— Чего молчишь? — резко спросил он. — Ты из-за чего ездил? Свидетелем был? В молчанку шгад?

— Ну, брат, и номер же ты выкинул!

— А он не выкинул?

— Положим, и он не прав. Тон, каким он с нами разговаривал, прямо-таки возмутителен!

— Да разве ж он с нами разговаривал? Он с самого начала заорал, как скажи, ему шло в зад воткнули!

— Однако и ты хорош! Неповинновне старшему по чину... в боевой обстановке, это, брат..

— Ничего не это! Вот жалко, что не намахнулся он на меня! Я б его потянул клинком через лоб, ажик черепок бы его хрустнул!

— Тебе и без этого добра не ждть, — с неудовольствием сказал Копылов и перевел коня на шаг. — По всему видно, что теперь они начнут дисциплину подтягивать, держись!

Лошади их, пофыркивая, отгоняя хвостами оводов, шли рядом. Григорий насмешливо оглядел Копылова, спросил:

— Ты из-за чего парялся-то? Думал, небось, что тебя чаем угощать будут? Бь столу под белы руки поведут? Побрился, френч вычистил, сапоги наяснил.. Я видал, как ты утирку слюнявил да пятнышки на коленях считал!

— Оставь, пожалуйста! — румянея, защищался Копылов.

— Зря пропали твои труды! — издевался Григорий. — Не токмо чаю, но и к ручке тебя не подпустил.

— С тобой еще и не этого можно было ожидать, — скороговоркой пробормотал Копылов и, сощурив глаза, изумленно-радостно воскликнул: — Смотри! Это — не наши. Сюзники!

Навстречу им по узкому проулку шестерная упряжка мулов везла английское орудие. Собку на рыжей купецхвостой лошади ехал англичанин-офицер. Ездовой перелетного выноса тоже был в английской форме, но с русской офицерской кокардой на околыше фуражки и с погонами поручика.

Не доезжая несколько сажен до Григория, офицер приложил два пальца к козырьку своего пробкового шлема, движением головы попросил посторониться. Проулок был так узок, что разминуться можно было, только поставив верховых лошадей вплотную к каменной оgorоже.

На шеках Григория заиграли желваки. Сгиснув зубы, он ехал прямо на офицера. Тот удивленно поднял брови, чуть посторонился. Они с трудом разошлись, и то лишь тогда, когда англичанин положил правую ногу, туго обтянутую крагой, на лоснящийся, гладко вычищенный круп своей породистой кобылицы.

Один из артиллерийской прислуги, тоже русский офицер, ехав по внешности, — злобно оглядел Григория:

— Кажется, вы могли бы посторониться! Неужто и здесь надо оказывать свое невежество?

— Ты проезжай да молчи, сучье вымя, а то я тебе посторонюсь!.. — вполголоса посоветовал Григорий.

Офицер приподнялся на передке, обернулся назад, крикнул:

— Господа! Задержите этого наглеца!

Григорий, выразительно помахивая плетью, шагом пробиравая по проулку. Усталые, пропыленные артиллеристы, сплошь безусые, молодые офицерики.

озирали его недружелюбными взглядами, но никто не попытался задержать. Шестиорудийная батарея скрылась за поворотом, и Копылов, покусывая губы, подехал к Григорию вплотную:

— Дуришь, Григорий Пантелеевич! Как мальчишка, ведешь себя!

— Ты что, ко мне воспитателем приставлен? — огрызнулся Григорий.

— Мне понятно, что ты озлился на Фицхелаурова, — пожимая плечами, говорил Копылов, — но при чем тут этот англичанин? Или тебе его шлем не понравился?

— Мне он тут, под Усть-Медведицей, что-то не понравился... ему же его в другом месте носить... Две собаки грызутся — третья не мешайся, знаешь?

— Ага! Ты, оказывается, против иностранного вмешательства? Но, помоему, когда за горло берут — рад будешь любой помощи.

— Ну, ты и радуйся, а я бы им на нашу землю и ногой ступить не позволил!

— Ты у красных китайцев видел?

— Ну?

— Это не все равно? Тоже ведь чужеземная помощь.

— Это ты зря! Китайцы к красным добровольцами шли.

— А этих, по-твоему силою сюда тянули?

Григорий не нашелся, что ответить, долго ехал молча, мучительно раздумывая, потом сказал, и в голосе его зазвучала нескрываемая досада:

— Вот вы, ученые люди, всегда так... Скидок наделаете, как зайцы на снегу! Я, брат, чувю, что тут ты неправильно гутаришь, а вот припереть тебя не умею... Давай бросим об этом. Не путай меня, я и без тебя запутанный!

Копылов обиженно умолк, и больше до самой квартиры они не разговаривали. Один лишь снедаемый любопытством Прохор догнал, было, их, спросил:

— Григорий Пантелеевич, ваше благородие, скажи на милость, что это такое за животная у кадетов под орудиями? Ухи у них, как у ослев, а остальная справа — натуральная лошадиная. На эту скотину аж глядеть неудобно... Что это за чорт, за порода, — объясни, пожалуйста, а то мы под деньги заспорили. — Минут пять ехал сзади, так и не дождался ответа,

отстал и, когда поровнялись с ним остальные ординарцы, шопотом сообщил: — Они, ребята, едут молчаком и сами, видать, диву даются и ни черта не знают, откуда такая пакость на белом свете берется...

## ГЛАВА XI

Казачьи сотни четвертый раз вставали из неглубоких окопов и под убийственным пулеметным огнем красных залегали снова. Красноармейские батареи, укрытые лесом левобережья, с самой зари безостановочно обстреливали позиции казаков и накопившиеся в ярах резервы.

Молочно-белые таящие облачка прапнели вспыхивали над обломскими высотами. Впереди и сзади изломанной линии казачьих окопов пули схватывали бурю пыль.

К полудню бой разгорелся, и западный ветер далеко по Дону нес гул артиллерийской стрельбы.

Григорий с наблюдательного пункта повстанческой батареи следил в бинокль за ходом боя. Ему видно было, как, несмотря на потери, перебежками упорно шли в наступление офицерские роты. Когда огонь усиливался, они ложжились, окапываясь, и опять бросками передвигались к новому рубежу; а левее, в направлении к монастырю, повстанческая пехота никак не могла потянуться. Григорий набросал записку Ермакову, послал ее со связным.

Через полчаса прискакал распаленный Ермаков. Он спешился возле батарейской коновязи, — тяжело дыша, поднялся к окопу наблюдателя.

— Не могу поднять казаков! Не встают! — еще издали закричал он, размахивая руками. — У нас уж двадцати трех человек как не было! Видал, как красные пулеметами режут?

— Офицеры идут, а ты своих поднять не можешь? — сквозь зубы процедил Григорий.

— Да ты погляди, у них на каждый взвод по ручному пулемету да патронов по поздри, а мы с чем?!

— Но-но, ты мне не толкуй! Зараз же веди, а то голову съем!

Ермаков матерно выпругался, сбегал с кургана. Слелом за ним пошел Григорий. Он решил сам вести в атаку 2-й пехотный полк.

Около крайнего орудия, искусно замаскированного ветками боярышника, его задержал командир батареи:

— Полюбуйся, Григорий Пантелевич, на английскую работу. Сейчас они начнут по мосту бить. Давай подыдемся на курганы?

В бинокль была чуть видна тончайшая полоска понтонного моста, перекинутого через Дон красными саперами. По ней беспрерывным потоком катились подводы.

Минут через десять английская батарея, расположившаяся за каменистой грядой в ложине, повела огонь. Четвертым снарядом мост был разрушен почти на середине. Поток подвод приостановился. Видно было, как красноармейцы, суетясь, сбрасывали в Дон разбитые брички и трупы лошадей.

Тотчас же от правого берега отвалили четыре баркаса с саперами. Но не успели они залезать на разрушенный настил на мосту, как английская батарея снова послала пачку снарядов. Один из них разворотил вездную дамбу на левом берегу, второй взметнул возле самого моста зеленый столб воды, и возобновившееся движение по мосту снова приостановилось.

— А и точно же бьют сукины сыны! — с восхищением сказал командир батареи. — Теперь они до ночи не дадут им переправляться. Мосту этому не быть живу!

Григорий, не отнимая от глаз бинокля, спросил:

— Ну, а ты чего молчишь? Поддержал бы свою пехоту. Ведь вон они, пулеметные гнезда.

— И рад бы, да ни одного снаряда нету! С полчаса назад клинул последний и заговорел.

— Так чего же ты тут стоишь? Берись на передки и езжай к чортовой матери!

— Послал к кадетам за снарядами.

— Не дадут, — решительно сказал Григорий.

— Раз уж отказали, послал в другой раз. Может, смилуются. Да нам хоть бы десяточка два, чтобы подавить вот эти пулеметы. Шутка дело—двадцать три души наших побили. А еще сколько покладут? Глянь, как они строчат!..

Григорий перевел взгляд на казачьи окопы: возле них на косогоре пули попрежнему рыли сухую землю. Там, где

ложились пулеметная очередь, возникала полоска пыли, словно кто-то невидимый молниеносно проводил вдоль окопов серую тающую черту. На всем протяжении казачьи окопы как бы дымились, заштрихованные пылью.

Теперь Григорий уже не следил за попаданиями английской батареи. Минуту он прислушивался к неумолчной артиллерийской и пулеметной стрельбе, а потом сошел с кургана, догнал Ермакова:

— Не ходи в атаку до тех пор, пока не получишь от меня приказа. Без артиллерийской поддержки мы их не собьем.

— А я тебе не это говорил?—укоризненно сказал Ермаков, садясь на своего разгоряченного скачкой и стрельбой коня.

Григорий провожал глазами бесстрашно скакавшего под выстрелами Ермакова, с тревогой думая: «И чего его чорт понес напрямки? Скосят пулеметом! Спустился бы в ложину, по течению поднялся вверх и за бутром без опаски добрался бы до своих». Ермаков бешеным карьером доскакал до ложины, нырнул в нее и на той стороне не показался. «Значит, понял! Теперь доберется» — облегченно решил Григорий и прилег возле кургана, неспеша свернул папирску.

Странное равнодушие овладело им! Нет, не поведет он казаков под пулеметный огонь. Незачем. Пусть идут в атаку офицерские штурмовые роты. Пусть они забирают Уст-Медведицкую. И тут, лежа под курганом, впервые Григорий уклонился от прямого участия в сражении. Не трусость, не боязнь смерти или беспечных потерь руководили им в этот момент. Недавно он не шадил ни своей жизни, ни жизни веренных его командованию казаков. А вот сейчас словно что-то сломалось... Еще никогда до этого не чувствовал он с такой предельной ясностью всю ничтожность происходившего. Разговор ли с Копыловым или стычка с Фипхелауровым, а может быть, то и другое, вместе взятые, были причиной того настроения, которое так неожиданно сложилось у него, но только под огонь он решил больше не идти. Он неясно думал о том, что казаков с большевиками ему не примирить, да и сам в душе не мог с ними примириться, а защищать чуждых по духу, враждебно настроенных

к нему людей. всех этих Фицхелауровых, которые глубоко его презирали и которых не менее глубоко презирал он сам. — он тоже больше не хотел и не мог. И снова со всей беспощадностью встали перед ним прежние противоречия. «Нехай воюют. Погляжу со стороны. Как только возьмут у меня дивизию, буду проситься из строя в тыл. С меня хватит!» — думал он и, мысленно вернувшись к спору с Копыловым, поймал себя на том, что ищет оправдания красным: «Китайцы идут к красным с голыми руками, поступают к ним и за хреновое солдатское жалованье каждый день рискуют жизнью. Да и при чем тут жалование? Какого черта на него можно купить? Разве что в карты проиграть.. Стало быть, тут корысти нету, что-то другое.. А союзники присылают офицеров, танки, орудия, вон даже мулов, и то прислали! Потом будут за все это требовать длинный рубль Вот она в чем разница! Ну, да мы об этом еще вечером поспорим! Как приеду в штаб, так отзову его в сторону и скажу: «А разница-то есть, Копылов, и ты мне голову не морочи!».

Но поспорить так и не пришлось. Во второй половине дня Копылов поехал к месторасположению 4-го полка, находившегося в резерве, и по пути был убит шальной пулей. Григорий узнал об этом два часа спустя...

Наутро Усть-Медведицкую с боем заняли части 5-й дивизии генерала Фицхелаурова.

## ГЛАВА XII

Дня через три после отъезда Григория на хутор Татарский явился Митька Коршунов. Прпехал он не один, его сопровождали двое сослуживцев по карательному отряду. Один из них был немолодой калмык, родом откуда-то с Мамыча, другой — невзрачный казачишка Распопинской станицы. Калмыка Митька презрительно именовал «холой», а распопинского пропойца и бестию величал Силантием Петровичем.

Видно, немалую службу сослужил Митька Войску Донскому, будучи в карательном отряде: за зиму был он прозвезден в вахмистры, а затем в подхорунжий и в хутор приехал во всей красе новой офицерской формы. Надо

думать, что не плохо жилось ему в отступлении, за Донцом: легкий защитный френч так и распирала широченные митькины плечи, на тугой стоячий воротник набегали жирные складки розевой кожи, спитые в ~~обтяжку~~ ~~сидно~~ диагоналевые штаны с лампасами чуть не лопались сзади... Быть бы Митьке по его наружным достоинствам лейб-гвардии атаманцем, жить бы при дворе и охранять священную особу его императорского величества, если б не эта окальная революция. Но Митька и без этого на жизнь не жаловался. Добился и он офицерского чина, да не так, как Григорий Мелехов, рискуя головой и бесшабашно геройствуя. Чтобы выслужиться, в карательном отряде от человека требовались иные качества... А качеств этих у Митьки было хоть отбавляй: не особенно доверяя казакам, он сам волил на распыл заподозренных в большевизме, не брезговал собственноручно, при помощи плети или шомпола, расправляться с дезертирами, а уж по части допроса арестованных — во всем отряде не было ему равного, и сам войсковой старшина Прияшников, пожимая плечами, говорил: «Нет господа, как хотите, а Коршунова превзойти невозможно! Дракон, а не человек!». И еще одним замечательным свойством отличался Митька: когда карателям арестованного нельзя было расстрелять, а не хотелось выпускать живым из рук, — его присуждали к телесному наказанию розгами и поручали выполнить это Митьке. И он выполнял, да так, что после пятидесяти ударов у наказываемого начиналась безудержная кровавая рвота, а после ста — человека, не послушав, уверенно заворачивали в рогожу... Из-под митькиных рук еще ни один осужденный живым не вставал. Он сам, посмеиваясь, не раз говаривал: «Ежли б мне со всех красных, побитых мною, посыпать штаны да юбки, — весь хутор Татарский одел бы!».

Жестокость, свойственная митькиной натуре с детства, в карательном отряде не только нашла себе достойное применение, но и, ничем не будучи взнуздываемая, чудовашно возросла. Соприкасаясь по роду своей службы со всеми стекавшимися в отряд полонками офицерства, — с кокаинистами, насильниками, грабителями и прочими интеллигентными мерзавцами, — Митька охотно, с крестьянской старательностью, усваивал



все то, чему они его в своей ненависти в красном учили, и без особого труда превосходил учителей. Там, где уставший от крови и чужих страданий невращенник-офицер не выдерживал.— Митька голько шурял свои желтые, мелкой искрой крапленые глаза и дело доводил до конца.

Таким стал Митька, попав из казачьей части на легкие хлеба—в карательный отряд войскового старшины Прянишникова.

Появившись в хуторе, он, важничая и еле отвечая на поклоны встречавшихся баб, шагом проехал к своему помещению. Возле полуобгоревших, задымленных ворот спешилась, отдал човолья калмыку, — широко расставляя ноги, прошел во двор. Сопровождаемый Силантьем, молча обошел вокруг фундамента, бончиком плети потрогал слившийся во время пожара, отсвечивающий бирюзой комок стекла, сказал охрипшим от волнения голосом:

— Сожгли. А курень был богатый! Первый в хуторе. Наш хуторной сжег, Мишка Кошевой. Он же и дела убил. Так-то, Силантий Петров, пришлось проотведать родимую пчелицу...

— А с этих Кошевых есть кто дома? — с живостью спросил тот.

— Должно быть, есть. Да мы повидаемся с ними... А зараз поедем к нашим сватам.

По дороге к Мелеховым Митька спросил у встретившейся снохи Богатыревых:

— Мамаша моя вернулась из-за Дону?

— Кубыть не вернулась ишо, Митрий Миронич.

— А сват Мелехов дома?

— Старик-то?

— Да.

— Старик дома, словом—вся семья дома, опричь Григория. Петра-то убил зимой, слышал?

Митька кивнул головой и тронул кобыльсю.

Он ехал по безлюдной уллице, и в желтых кошачьих глазах его, пресыщенных и холодных, не было и следа недавней взволнованной живости. Подъезжая к мелеховскому базу и ни к кому из спутников не обращаясь в отдельности, негромко сказал:

— Так-то встречает родимый хутор! Пообедать, и то надо к родне ехать... Ну-ну, ишо потягаемс!..

Пантелей Прокофьевич ладил под сараем лобогрейку. Завидев конных и признав среди них Коршунова, пошел к воротам.

— Милости просим, — радушно сказал он, открывая калитку. — Гостям рады! С прибытием!

— Здравствуй, сват! Живой-здоровый?

— Слава богу, покуда ничего. Да ты никак уж в офицерах ходишь?

— А ты думал, одним твоим сынам белые пэганы носить? — самодовольно сказал Митька, подавая старику длинную жилистую руку.

— Мои до них не дже охочи были, — с улыбкой ответил Пантелей Прокофьевич и пошел вперед, чтобы указать место, куда поставить лошадей.

Хлебосольная Ильинична накормила гостей обедом, а уж потом начались разговоры. Митька подробно выспрашивал обо всем, касающемся его семьи, и был молчалив и ничем не высказывал ни гнева, ни печали. Будто мимоходом спросил, остался ли в хуторе кто из семейства Мишки Кошевого, и, узнав, что дома осталась мишкина мать с детьми, коротко и незаметно для других подмигнул Силантию.

Гости вскоре засобирались. Провожая их, Пантелей Прокофьевич спросил:

— Долго думаешь прогостить в хуторе?

— Да так, дня два-три.

— Матерю-то повидаетшь?

— А это как придется.

— Ну, а зараз далеко отъезжаетшь?

— Так. Повидать кое-кого из хуторных. Мы скоро прибудем.

Митька со своими спутниками не успел еще вернуться к Мелеховым, а уж по хутору покатилась молва. «Коршунов с калмыками приехал, всю семью Кошевого вырезали!».

Ничего не слышавший Пантелей Прокофьевич только-что пришел из кузницы с косогонем и снова собрался было наладживать лобогрейку, но его позвала Ильинична:

— Поди-ка сюда, Прокофич! Да попроворней!

В голосе старухи прозвучали нотки нескрываемой тревоги, и удивленный Пантелей Прокофьевич тотчас направился в хату.

Заплаканная, бледная Наталья стояла у печки, Ильинична указала глаза-

ми на аникушкину жену, глухо спросила:

— Слышал новость, старик?

«Ох, с Григорием что-то... Сохрани и помилуй!» — опалила Пантелея Прокофьевича догадка. Он поблдевел и, в страхе и ярости оттого, что никто ничего не говорит, крикнул:

— Скорей выкладывайте, будь вы прокляты!.. Ну, что случилось? С Григорием?.. — И, словно обессилевший от крика, опустился на лавку, поглаживая трясущиеся ноги.

Дуняшка первая сообразила, что отец боится черных вестей о Григории, поспешно сказала:

— Нет, батенька, это не об Грише весть. Митрий Кошевых побил.

— Как, то-есть, побил? — У Пантелея Прокофьевича разом отлегло от сердца, и, еще не понимая смысла сказанных Дуняшкой слов, он снова переспросил: — Кошевых? Митрий?

Аникушкина жена, прибежавшая с новостями, сбиваясь, начала рассказывать:

— Ходила я, дяденка, телка искать, и вот иду мимо Кошевых, а Митрий и с ним ишо двое служивых подехали к базу и пошли в дома. Я и думаю: телок дальше ветряка не уйдет, очередь пасть телят была...

— Да на чорта мне твой телок! — гневно прервал Пантелея Прокофьевич.

— ... И пошли они в дома, — захлебываясь, продолжала баба, — а я стою, жду. «Не с добром, — думаю, — они сюда приехали». И началась там крик, и слышно — бьют. Пенугалась я до смерти, хотела бечь, да только отошла от плетня, слышу — топочут сзади; оглянулась, а это Митрий ваш накинул старухе оборку на шею и волокет ее по земле, чисто как собаку, прости господи! Подтянул ее к сараю, она, сердешная, и голосу не отдает, должно, уж без памяти была; калмык, какой с ним был, сигнул на переруб... Гляжу — Митрий конец оборки ему кинул и шумит: «Подтяни и завязывай узлом!». Ох, страсти я натерпелась! На моих глазах и задушили бедную старуху, а посла вскачли на коней и поехали по проулку, должно, к правлению. В хату-то я побоялась идти... А видела, как из сенцев, прямо из-под дверей, кровь на приступки текла. Не дай и не приведи, господи, ишо раз такую страсть видать!

— Хороших гостей нам бог послал! — выжидающе глядя на старика, сказала Ильинична.

Пантелея Прокофьевич в страшном волнении выслушал рассказ и, не сказав ни слова, сейчас же вышел в сени.

Вскоре возле ворот показался Митька со своими подручными. Пантелея Прокофьевич проворно захромал им навстречу.

— Постой-ка! — крикнул он еще издали. — Не вводи коней на баз!

— Что такое, сваток? — удивленно спросил Митька.

— Поворачивай обратно! — Пантелея Прокофьевич подошел вплотную и, глядя в желтые мерцающие митькины глаза, твердо сказал: — Не гневайся, сват, но я не хочу, чтобы ты был в моем курене. Лучше по-добру уезжай, куда знаешь.

— А-а-а... — пошмающе протянул Митька и поблдевел. — Выгоняешь, стало быть?..

— Не хочу, чтобы ты поганил мой дом! — решительно повторил старик. — И больше чтоб и нога твоя ко мне не ступала. Нам, Мелеховым, палачи не сродни, так-то!

— Понятно! Только больно уж ты жалостлив, сваток!

— Ну, уж ты, должно, милосердия не поймешь, коли баб да детишков начал казнить! Ох, Митрий, негожее у тебя рукомесло... Не возрадовался бы твой покойный отец, глядячи на тебя!

— А ты, старый дурак, хотел бы, чтобы я с ними цацкался? Батю убили, деда убили, а я бы с ними христовался? Или ты — знаешь куда?.. — Митька яростно дернул повод, вывел коня за калитку.

— Не ругайся, Митрий, ты мне в сыны-тож. И делить нам с тобой нечего, езжай с богом!

Все больше и больше бледнел, грозя плетью, Митька глухо цокрикивал:

— Ты не вводи меня в грех, не вводи! Наталью жалко, а то бы я тебя, милостивка... Знаю вас! Вижу наскрозь, каким вы духом дышите! За Донец в отступ не пошли? Красным передались? То-то!.. Всех бы вас надо, сукных сынов, как Кошевых перевернуть! Поехали, ребята! Ну, хромой кобель, гляди, не попадайся мне! Из моей горсти не выскочишь! А хлеб-соль

твою я тебе попомню! Я такую родню тоже намахивал!..

Пантелей Прокофьевич дрожащими руками запер калитку на засов, похромал в дом.

— Выгнал твоего братца, — сказал он, не глядя на Наталью.

Наталья промолчала, хотя в душе она и была согласна с поступком свекора, а Ильинична быстро перекрестилась и обрадованно сказала:

— И слава богу: унесла нелегка! Извиняй на худом слове, Натальюшка, но Митька ваш оказался истым супостатом! И службу-то себе такую нашел: нет, чтобы, как и другие казаки, в верных частях служить, а он, — вишь! — поступил в казнительный отряд! Да разве ж это казацкое дело — казнителем быть, старух вешать да деташков безвинных пашками рубить?! Да разве они за Мишку своего ответчики? Этак и нас с тобой, и Мишатку с Подюшкой за Грину красные могли бы порубить, а ить не порубили же, поймали милость? Нет, оборони, господь, я с этим несогласная!

— Я за брата и не стою, мамина... — только и сказала Наталья, кончиком платка вытирая слезы.

Митька уехал из хутора в этот же день. Слышно было, будто пристал он к своему карательному отряду где-то около Каргинской и вместе с отрядом отправился наводить порядки в украинских слободах Донецкого округа, население которых было повинно в том, что участвовало в подавлении Верхнедонского восстания.

После его отъезда с неделю шли по хутору толки. Большинство осуждало самосудную расправу над семьей Кошевого. На общественные средства похоронили убитых: хатенку Кошевых хотели было продать, но покупателей не нашлось. По приказу хуторского атамана ставни накрест забили досками, и долгу еще ребятишки боялись играть около страшного места, а старики и старухи, проходя мимо выморочной хатенки, крестились и поминали за упокой души обвенчаных.

Потом наступил степной покос, и недавние события забылись.

Хутор попрежнему жил в работе и слухах о фронте. Те из хозяев, у которых уехали рабочий скот, крахтели и поругивались, поставляя обывательские подводы. Почти каждый день приходи-

лось отрывать быков и лошадей от работы и посылать в станицу. Выпрягая из косилок лошадей, не один раз недоброе слово поминали старики затянувшуюся войну. Но снаряды, патроны, мотки колючей проволоки, продовольствие надо было подвозить к фронту. И везли. А тут, как на зло, установились такие погожие дни, что только бы косить да грести подоспевшую, нередкость кормовистую траву.

Пантелей Прокофьевич готовился к покосу и крепко досадовал на Дарью. Повезла она на паре быков патроны, с перевалочного пункта должна была возвратиться, но прошла неделя, а о ней и слуха не было; без пары же старых, самых надежных быков в степи нечего было и делать.

По сути — не надо бы посылать Дарью... Пантелей Прокофьевич срыпая сердце доверил ей быков, зная, как охоча она до веселого времяпровождения и как нерадива в уходе за скотом, но кроме нее никого не нашлось. Дупняшку нельзя было послать, потому что — не девичье дело ехать с чужими казаками в дальнюю дорогу; у Натальи — малые дети; не самому же старику было везти эти проклятые патроны? А Дарья с охотой вызвалась ехать. Она и раньше ездила всюду: на мельницу ли, на просорушку или еще по какой-либо хозяйской надобности, и все лишь потому, что вне дома чувствовала себя несравненно свободнее. Ей каждая поездка приносила развлечение и радость. Вырвавшись из-под свекровино присмотра, она могла и с бабами досыта посудачить и — как она говаривала — «на-ходу любовь покрутить» с каким-нибудь приглянувшимся ей расторопным казачком. А дома и после смерти Петра строгая Ильинична не давала ей воли, как будто Дарья, изменившая живому мужу, обязана была соблюдать верность мертвому.

Знал Пантелей Прокофьевич, что не будет за быками хозяйского догляда, но делать было нечего, — снарядил в поездку старшую сноху. Снарядить-то снарядил, да и прожил всю неделю в великой тревоге и душевном беспокойстве. «Луснули мои бычки!» — не раз думал он, просыпаясь среди ночи, тяжело вздыхая.

Дарья приехала на одиннадцатые сутки утром. Пантелей Прокофьевич только-что вернулся с поля. Он косил в

супруге с аникушкиной женой и, оставив ее и Дуняшку в степи, приехал в хутор за волой и харчами. Старшки и Наталья завтракали, когда мимо окон со знакомым перестуком загремели колеса брячки. Наталья проворно подбежала к окну, увидела закутанную по самые глаза Дарью, вводящую усталых, исхудавших быков.

— Она, что ли? — спросил старик, даваясь непрожеванным куском.

— Дарья!

— Не чаял и увидеть быков! Ну, слава тебе господи! Хлюстанка проклятая! Насилу-то приблалась к базу... — забормотал старик, крестясь и сыто рыгая.

Разналыгав быков, Дарья вошла в кухню, положила у порога вчетверо сложенное рядно, поздоровалась с домашними.

— А то чего ж, милая моя! Ты бы ишо нелею ездила! — с сердцем сказал Пантелей Прокофьевич, исподлобья глянув на Дарью и не отвечая на приветствие.

— Ехали бы сами! — огрызнулась та, снимая с головы пропыленный платок.

— Чего ж так долго ездила? — вступила в разговор Ильинична, чтобы сладить неприязненность встречи.

— Не пускали, того и долго.

Пантелей Прокофьевич недоверчиво покачал головой, спросил:

— Христонину бабю с перевалочного пустили, а тебя нет?

— А меня не пустили! — Дарья зло сверкнула глазами, добавила: — Ежли не верите — поезжайте, спросите у начальника, какой обоз сопровождал.

— Справляться о тебе мне незачем, но уж в другой раз посли дома. Тебя только за смертью посылать.

— Загрозили вы мне! Ох, загрозили! Да я и сама не поеду! Посылать будете — и не поеду!

— Быки-то здоровые? — уже мирнее спросил старик.

— Здоровые. Ничего вашим быкам не поделалось... — Дарья отвечала нехотя и была мрачнее ночи.

«Разлучилась в дороге с каким-нибудь милым, через это и злая» — подумала Наталья.

Она всегда относилась к Дарье и к ее нечистоплотным любовным увлечениям с чувством сожаления и безразличности.

После завтрака Пантелей Прокофьевич собрался ехать, но тут пришел хуторской атаман.

— Сказал бы — в час добрый, да погоди, Пантелей Прокофич, не выезжай.

— Уж не сызнава ли за подволой прибор? — с деланным смирением спросил старик, а у самого от ярости даже дух захватило.

— Нет, тут другая музыка. Нынче приезжает к нам сам командующий всей Донской армией, сам генерал Сидорин, понял? Зараз получил с нарочным бумажку от станичного атамана, приказывает стариков и баб всех до одного собрать на сходку.

— Да они в уме! — вскричал Пантелей Прокофьевич. — Да кто же это в такую горячую пору сходки устраивает? А сена мне на зиму припасет твой генерал Сидорин?!

— Он одинаково п твоей такой же, как и мой. — спокойно ответил атаман. — Мне что приказано — то и делаю. Распирягай! Надо хлебом-солью встречать. Гутарют, промежду прочим, будто с ним союзничковы генералы едут.

Пантелей Прокофьевич молча постоял около арбы, поразмыслил и начал распирять быков. Видя, что сказанное им возымело действие, повеселевший атаман спросил:

— Твоей кобылкой нельзя ли попользоваться?

— Чего тебе ей делать?

— Приказано, еж их наколи, две тройки выслать навстречу ажник к Дурному логу. А где их, тарантасы, брать п лошадей — ума не приложу! До света встал, бегаю, раз пять рубаха взмокла — и только четырех лошадей добыл. Народ весь в работе, прямо хучь криком кричи.

Смирившийся Пантелей Прокофьевич согласился дать кобылку и даже свой рессорный тарантинко предложил. Как-никак, а ехал командующий армией, да еще с иноземными генералами, а к генералам Пантелей Прокофьевич всегда испытывал чувство трепетного уважения.

Стараниями атамана две тройки кое-как были собраны и высланы к Дурному логу встречать почетных гостей. На плацу собирався народ. Многие бросив покос, спешили со степи в хутор.

Пантелей Прокофьевич, махнув рукою па работу, принарядился, надел чистую

рубаху, суконные шаровары с лампасами, фуражку, некогда привезенную Григорием в подарок, и степенно похромал на майдан, наказав старухе, чтобы отправила с Дарьей воду и харчи Душняке.

Вскоре густая пыль взвихрилась на шляху и потоком устремилась к хутору, а сквозь нее блеснуло что-то металлическое, и издали донесся певучий голос автомобильной сирены. Гости ехали на двух новехоньких блестящих темносиней краской автомобилях: где-то далеко сзади, обгоняя едущих с покоса косарей, порожняком скакали тройки, и уныло позванивали под дугами почтарские колокольчики, добытые для торжественного случая атаманом. На плацу в толпе прошло заметное оживление, зазвучал говор, послышались веселые восклицания ребят. Растерявшийся атаман засновал по толпе, собирая почетных стариков, коим належало вручать хлеб-соль. На глаза ему попался Пантелей Прокофьевич, и атаман обрадованно вцепился в него:

— Выручай, ради Христа! Человек ты бывалый, знаешь обхождение... Уж ты знаешь, как с ними и ручаться и все такое... Да ты же и член Круга, и сын у тебя такой. Пожалуйста, бери хлеб-соль, а то я, вроде, робею и дрожание у меня в коленях.

Пантелей Прокофьевич — донельзя польщенный честью — отказывался, соблюдая приличия, потом, как-то сразу вобрав голову в плечи, проворно перекрестился и взял покрытое расшитым рушником блюдо с хлебом-солью; расталкивая локтями толпу, вышел вперед.

Автомобили быстро приближались к плацу, сопровождаемые целым табуном охрипших от лая разномастных собак.

— Ты... как? Не робеешь? — шопотом справился у Пантелея Прокофьевича побледневший атаман. Он впервые видел столь большое начальство. Пантелей Прокофьевич искоса блеснул на него синеватыми белками, сказал оснившим от волнения гласом:

— На, подержи, пока я бороду причешу. Бери же!

Атаман услужливо принял блюдо, а Пантелей Прокофьевич разглядя усы и бороду, молодецки расправил груз и, опираясь на кончики пальцев искалеченной ноги, чтобы не видно было его хромоты, снова взял блюдо. Но оно

так задрожало в его руках, что атаман испуганно осведомился:

— Не уронишь? Ох, гляди!

Пантелей Прокофьевич пренебрежительно дернул плечом. Это он-то уронит? Может же человек сказать такую глупость! Он, который был членом Круга и во дворце наказного здоровался со всеми за руку, и вдруг испугается какого-то генерала? Этот несчастный атаманишка окончательно спятил с ума!

— Я, братец ты мой, когда был на Войсковом кругу, так я с самым наказным атаманом чай выкладку... — начал было Пантелей Прокофьевич и умолк.

Передний автомобиль остановился от него в каких-нибудь десяти шагах. Бритый шофер в фуражке с большим козырьком и с узенькими нерусскими погонями на френче ловко вскопчил, открыл дверцу. Из автомобиля степенно вышли двое одетых в защитное военных, направившись к толпе. Они шли прямо на Пантелея Прокофьевича, а тот, как стал навывтяжку, так и замер. Он догадался, что именно эти скромно одетые люди и есть генералы, а те, которые шли сзади и были по виду наряднее, — попросту чины сопровождающей их свиты. Старик смотрел на приближающихся гостей не мигая, и во взгляде его все больше отражалось нескрываемое изумление. Где же висячие генеральские эполеты? Где аксельбанты и ордена? И чью же это за генералы, если по виду их ничем нельзя отличить от обыкновенных солдатских писарей? Пантелей Прокофьевич был мгновенно и горько разочарован. Ему стало даже как-то обидно и за свое торжественное приготовление к встрече, и за этих позорящих генеральское звание генералов. Чорт возьми, если б он знал, что являются этакие-то генералы, так он и не одевался бы столь тщательно, и не шел бы с таким трюном, и уж, во всяком случае, не стоял бы, как дурак, с блюдом в руках и с плохо пропеченным хлебом на блюде, который и пекла-то какая-нибудь сопливая старуха. Нет, Пантелей Мелехов еще никогда не был пошлостью для людей, а вот тут пришлось: минутой назад он сам слышал, как за его спиной хихикали ребяташки, а один чертенок даже крикнул во всю глотку: «Ребята! Гля, как хро-

мой Мелехов накопился! Будто ерша приглотал!». Было бы из-за чего переносить насмешки и утруждать большую ногу, вытянувшись в струну... Внутри у Пантелея Прокофьевича все клокотало от негодования. А всему виной этот проклятый трус атаманишка! Пришел, набрехал, взял кобылу и тарантас, по всему хутору бегал, высунувши язык, громышка и колокольцы для троек искал. Воистину: хорошего не видал человек, так и четошке рад. За сроку бытность Пантелей Прокофьевич не таких генералов выдывал! Взять хотя бы на императорском смотру: иной идет — вся грудь в крестах, в медалях, в золотом шитве; глядеть, и то душа радуется — икона, а не генерал! А эти — все в зеленом, как сизоворонки. На одном даже не фуражка, как полагается под всей форме, а какой-то котелок под кисеей, и морда вся выбрита наголо, ни одной волосинки не найдешь, хоть с фонарем ищи... Пантелей Прокофьевич нахмурился и чуть не сплюнул от отвращения, но его кто-то сильно толкнул в спину, громко зашептал:

— Иди же, подноси!

Пантелей Прокофьевич шагнул вперед. Генерал Сидорин через его голову бегом оглядел толпу, звучно прошепел:

— Здравствуйте, господа старики!

— Здравия желаем, ваше превосходительство! — вразброд загомонили хуторяне.

Генерал милостиво принял хлеб-соль из рук Пантелея Прокофьевича, сказал «спасибо!» и передал блюду адъютанту.

Стоявший рядом с Сидориным высокий, поджарый английский полковник из-под пинки надвинутого на глаза шлема с холодным любопытством рассматривал казаков. По приказу генерала Бриггса — начальника британской военной миссии на Кавказе — он сопровождал Сидорина в его инспекционной поездке по очищенной от большевиков земле Войска Донского и при посредстве переводчика добросовестно изучал настроения казаков, а также знакомился с обстановкой на фронтах.

Полковник был утомлен дорожными лишениями однообразным степным пейзажем, скучными разговорами и всем сложным комплексом обязанностей представителя великой державы, но интересы королевской службы — прежде всего! — в он внимательно вслушивался

в речь станичного оратора и почти все понимал, так как знал русский язык, скрывая это от посторонних. С истинно британским высокомерием смотрел он на разнохарактерные смуглые лица этих воинственных сынов степей, поражаясь тому расовому смешению, которое всегда бросается в глаза при взгляде на казачью толпу; рядом с белокурый казак-слезянином стоял типичный монгол, а по соседству с ним черный, как вороново крыло, молодой казак, с рукою на грязной перевязи, вплотную беседовал с седым библейским патриархом, и можно было бытаться об заклад, что в жилах этого патриарха, озирающегося на посох, олегого в старомодный казачий чекмень, течет чистейшая кровь кавказских горцев...

Полковник был истинным патриотом и немного знал историю. рассматривая казаков, он думал о том, что не только этим варварам, но и влукам их не придется идти в Индию под командованием какого-нибудь нового Платова. После победы над большевиками обескровленная гражданской войной Россия надолго выйдет из строя великих держав и в течение ближайших десятилетий восточным владениям Британии уже ничто не будет угрожать. А что большевиков победят, — полковник был твердо убежден. Он был человеком трезвого ума, до войны долго жил в России и, разумеется, никак не мог верить, чтобы в полудикой стране восторжествовали утопические идеи коммунизма...

Внимание полковника привлекли громко перешептывавшиеся бабы. Он, не позорачивая головы, оглядел их скуластые обветренные лица, и твердо сжатые губы его тронула чуть приметная презрительная усмешка.

Пантелей Прокофьевич, вручив хлеб-соль, замешался в толпе. Он не стал слушать, как от имени казачьего населения станицы Вешенской приветствовал приехавших какой-то вешенский краснойбай, а, околесив толпу, направился к стоявшим поодаль тройкам.

Лопзани были все в мыле и тяжело носили боками. Старик подошел к своей впряженной в корень кобылке, рукавом протер ей ноздри, вздохнул. Ему хотелось выругаться, тут же выпрячь кобылу и увести ее домой, — так велико было его разочарование.

В это время генерал Сидорин держал в татарском речь. Одобрительно ото-

завалившись об их боевые действия в тылу у красных, он сказал:

— Вы мужественно сражались с нашими общими врагами. Ваши заслуги не будут забыты родиной, постепенно освобождающейся от большевиков, от их страшного ига. Мне хотелось бы отметить наградой тех женщин вашего хутора, которые, как нам известно, особенно отличились в вооруженной борьбе против красных. Я прошу выйти вперед наших героинь-казачек, фамилии которых будут сейчас оглашены!

Один из офицеров прочитал короткий список. Первой в нем значилась Дарья Мелехова, остальные были вдова казаков, убитых в начале восстания, участвовавшие, как и Дарья, в расправе над пленными коммунистами, прыгнанными в Татарский после сдачи Сердобского полка.

Дарья не поехала в поле, как приказывал Пантелей Прокофьевич. Она оказалась тут же, в толпе хуторских баб, и была разнаряжена, словно на праздник.

Как только она услышала свою фамилию, растолкала баб и смело пошла вперед, на ходу поправляя белый, с кружевной каймой платок, щуря глаза и слегка смущенно улыбаясь. Даже усталая после дороги и любовных приключений она была дьявольски хороша! Не тронутые загаром бледные щеки резко оттеняли жаркий блеск прищуренных, ищущих глаз, а в своевольном изгибе накрашенных бровей и в складке улыбающихся губ таилось что-то вызывающее и нечистое.

Ей загрохотала дорога стоявший спиной к толпе офицер. Она легонько оттолкнула его, сказала: «Пропустите женихову родню!». И подошла к Сидорину.

Он взял из рук адъютанта медаль на георгиевской ленточке. — Неумело действуя пальцами, приколот ее к даринной кофточке на левой стороне груди и с улыбкой посмотрел Дарье в глаза.

— Вы — вдова убитого в марте хуторного Мелехова?

— Да.

— Сейчас вы получите деньги, пятьсот рублей. Выдаст их вам вот этот офицер. Вейсковой атаман Африкан Петрович Богасевский и правительство Дона благодарят вас за оказанное вами высокое мужество и просят принять

сочувствие... Они сочувствуют вам в вашем горе.

Дарья не все поняла из того, что ей говорил генерал. Она поблагодарила кивком головы, взяла из рук адъютанта деньги и тоже, молча улыбаясь, посмотрела прямо в глаза нестарому генералу. Они были почти одинакового роста, и Дарья без особого стеснения разглядывала сухощавое генеральское лицо. «Дешево расценили моего Петра, не дороже пары быков... А генералик ничего из себя, подходящий» — со свойственным ей цинизмом думала она в этот момент. Сидорин ждал, что она вот-вот отойдет, но Дарья что-то медлила. Адъютант и офицеры, стоявшие позади Сидорина, движениями бровей указывали друг другу на разбитную вдову; в глазах их забегали веселые огоньки; даже полковник-англичанин оживился, поправил пояс, переступил с ноги на ногу, и на бесстрастном лице его появилось нечто, отдаленно похожее на улыбку.

— Мне можно идти? — спросил Дарья.

— Да-да, разумеется! — торопливо разрешил Сидорин.

Дарья неловким движением сунула в разрез кофточки деньги, — направилась к толпе. За ее легкой, скользящей походкой внимательно следили все уставшие от речей и церемоний офицеры.

К Сидорину неуверенно подходила жена покойного Мартина Шамиля. Когда и к ее старенькой кофтенке была приколата медаль, Шамилиха вдруг заплакала, да так беспомощно и по-женски горько, что лица офицеров сразу утратили веселое выражение и стали серьезными, сочувственно-кислыми.

— Ваш муж тоже убит? — нахмурился, спросил Сидорин.

Плачущая женщина закрыла лицо руками, молча кивнула головой.

— У нас детей на воз не покладешь! — басом сказал кто-то из казаков.

Сидорин повернулся лицом к англичанину, громко сказал:

— Мы награждаем женщину, проявивших в боях с большевиками исключительное мужество. У большинства из них мужья были убиты в начале восстания против большевиков, и эти женщины-вдовы, мстя за смерть мужей, уничтожили целиком крупный отряд местных коммунистов. Первая из на-



гражданских мною — жена офицера — собственноручно убила прославившегося жестокостями комиссара-коммуниста.

Переводчик-офицер бегло заговорил по-английски. Полковник выслушал, наклонил голову, сказал:

— Я восхищаюсь храбростью этих женщин. Скажите, генерал, они участвовали в боях паравне с мужчинами?

— Да, — коротко ответил Сидорин и нетерпеливым движением руки пригласил подойти поближе третью вдову.

Вскоре после вручения наград гости отбыли в станцию. Народ торопливо стал расходиться с плаца, спеша на покое, и через несколько минут после того, как скрылись сопровождаемые собачьим лаем автомобили, возле церковной ограды осталось только трое стариков.

— Диковинные времена заступили! — сказал один из них и широко развел руками. — Бывалоча, на войне егорьевский крест али медаль давали за больши-и-не дела, за геройство, да кому давали-то? Самым ухачам, отчаягам! Добывать кресты не дюже много рискателей находилась. Не даром сложили поговорку: «Иль домой с крестом, иль лежать пластом». А нынче медали бабам понавешали... Да хучь бы было за что, а то так... Казаки пригнали в хутор, а они кольями побили пленных, обезруженных людей. Какая ж тут геройства? Не войму, накажи господь!

Другой старик, подсленоватый и немощный, отставил ногу, неспеша достал из кармана свернутый в трубку матерчатый конверт, сказал:

— Им, начальству, виднее из Черкасскова. Стало быть, там рассудили так: надо и бабам приманку сделать, чтоб духом все подвигались, чтобы дюжебой воевали. Тут медаль, а тут по пятисот деньгами, — какая баба супротив такой чести устоит? Иной из казаков и не хотел бы выступать на фронт, думал бы прихорониться от войны, да разве зараз сможет он усидеть? Ему баба все уши прожужжит! Почная кукушка, она всегда перекукует! И каждая будет думать: «Может, и мне медаль навесют?».

— Это ты зря так говоришь, гум Федор! — возразил третий. — Следовало награждать, вот и наградили. Бабы поведовели, им деньги будут большой подмогой по хозяйству, а медали им за личность пожалованы. Дашка Мелеховых

первая суд навела Котлярову, и правильно! Господь им всем судья, но и баб нельзя винить: своя-то кровь резко гутарит...

Старикя спорили и переругивались до тех пор, пока не зазвонили в черне. А как только звонарь ударил в колокол — все трое встали, сняли шапки, перекрестились и чинно пошли в ограду.

## ГЛАВА XIII

Удивительно, как изменилась жизнь в семье Мелеховых! Совсем недавно Пантелей Прокофьевич чувствовал себя в доме полновластным хозяином, все домашние ему безоговорочно подчинялись, работа шла ряд-рядом, сообща делили и радость, и горе, и во всем быту сказывалась большая, долголетняя слаженность. Была крепко спаянная семья, а с весны все переменялось. Первой откололась Дуняшка. Она не проявляла открытого неповиновения отцу, но всякую работу, которую приходилось ей выполнять, делала с видимой неохотой и так, как будто работала не для себя, а по найму; и внешне стала как-то замкнутой, отчужденней; редко-редко слышался теперь беззаботный дуняшкин смех.

После отъезда Григория на фронт и Наталья отдалась от стариков; с детшками проводила почти все время, с ними только охотно разговаривала и занималась, и было похоже, что втихомолку о чем-то крепко горюет Наталья, но ни с кем из близких о своем горе ни разу и словом не обмолвилась, никому не пожаловалась и всячески скрывала, что ей тяжело.

Про Дарью и говорить было нечего: совсем не та стала Дарья после того, как с'ездила с обывательскими подводами. Все чаще она противоречила свекору, на Ильичичу и вниманья не обращала, безо всякой видимой причины злилась на всех, от покоса отделялась нездоровьем и держала себя так, как будто доживала она в мелеховском доме последние дни.

Семья распалась на глазах у Пантелей Прокофьевича. Они со старухой оставались вдвоем. Неожиданно и быстро были нарушены родственные связи, утрачена теплота взаимоотношений, в разговорах все чаще проскальзывали

нотки раздражительности и отчуждения... За общий стол сажались не так; как прежде—единой и дружной семьей, а как случайно собравшиеся вместе люди.

Война была всему этому причиной, Пантелей Прокофьевич это отлично понимал. Дунька злилась на родителей за то, что те лишили ее надежды когда-нибудь выйти замуж за Мишку Кошевого — единственного, кого она любила со всей безаветной девичьей страстью; Наталья молча и глубоко, с присущей ей скрытностью переживала новый отход Григория к Аксинье. А Пантелей Прокофьевич все это видел, но ничего не мог сделать, чтобы восстановить в семье прежний порядок. В самом деле, не мог же он после всего того, что произошло, давать согласие на брак своей дочери с заядлым большевиком, да и что толку было бы от его согласия, коли этот чортов жених мотался где-то на фронте, к тому же в красноармейской части? То же самое и с Григорием: не будь он в офицерском чине, Пантелей Прокофьевич живо управился бы с ним. Так управился бы, что Григорий после этого на астаховский баз и глазом бы не косил. Но война все перепутала и лишила старика возможности жить и привить своим домом так, как ему хотелось. Война разорила его, лишила прежнего рвения к работе, отняла у него старшего сына, внесла разлад и сумятицу в семью. Прошла она над его жизнью, как буря над деляной пшеницы, но пшеница и после бури встает и красуется под солнцем, а старик подняться уже не мог. Мысленно он махнул на все рукой, — будь что будет!

Получив из рук генерала Сидорина награду, Дарья повеселела. Она пришла с плача в тот день оживленная и счастливая. Блестя глазами, указала Наталье на медаль.

— За что это тебе?—удивилась Наталья.

— Это за кума Ивана Алексеевича, царство ему небесное, сукниному сыну! А это — за Петю... — И, похваляясь, развернула папку хрустящих донских кредиток.

В поле Дарья так и не поехала. Пантелей Прокофьевич хотел было отправить ее с харчами, но Дарья решительно отказалась:

— Отвяжитесь. батенка, я уморила с дороги!

Старик нахмурился. Тогда Дарья, чтобы сгладить грубоватый отказ, полуслушливо сказала:

— В такой день грех вам будет заставлять меня ехать на поля. Мне нынче праздник!

— Отвезу и сам,—согласился старик. — Ну, а деньги как?

— Что — деньги?—Дарья удивленно приподняла брови.

— Деньги, спрашиваю, куда денешь?

— А это уж мое дело. Куда захочу, туда и дену!

— То-есть как же это так? Деньги-то за Петра тебе выдали?

— Выдали их мне, и вам ими не распоряжаться.

— Да ты семьянинка или кто?

— А вы чего от этой семьянинки хотите, батенка? Деньги себе забрать?

— Не к тому, что все забрать, по Петро-то сын нам был или кто, потвоему? Мы-то со старухой должны быть в части?

Притязания свекора были явчо неуверенные, и Дарья решительно взяла перевес. Издевательски-спокойно она сказала:

— Ничего я вам не дам, даже рубля не дам! Вашей части тут нету, ее бы вам на руки выдали. Да с чего вы взяли, будто и ваша часть тут есть? Об этом и разговору не было, и вы за мной хоть не тянитесь, не получите!

Тогда Пантелей Прокофьевич предпринял последнюю попытку:

— Ты в семье живешь, наш хлеб ешь, значит — и все у нас должно быть общее. Что это за порядки, ежели каждый зачнет поврозь свое хозяйство заводить? Я этого не позволю! — сказал он.

Но Дарья отразила и эту попытку овладеть собственно ей принадлежащими деньгами. Бесстыдно улыбаясь, она заявила:

— Я с вами, батенка, не венчанная, нынче у вас живу, а завтра замуж выйду, и только вы меня и выдали! А за прокорм я вам не обязана платить. Я на вашу семью десять лет работала, спину не разгнула!

— Ты на себя работала, сука поблудная!—возмущенно крикнул Пантелей Прокофьевич. Он еще что-то орал, но Дарья и слушать не стала, поверну-

лась перед самым его носом, взмахнув подолом, ушла к себе в горницу. «Не на таковскую напал!» — шептала она, насмешливо улыбаясь.

На том разговор и кончился. Воистину, не такая была Дарья, чтобы уступить свое, убоявшись стариковского гнева.

Пантелей Прокофьевич собрался ехать в поле и перед отъездом коротко поговорил с Ильиничной.

— Ты за Дарьей поглядывай... — попросил он.

— А чего за ней глядеть? — удивилась Ильинична.

— Того, что она сорвется и уйдет из дому и из нашего добра с собой прихватит. Я так гляжу, что неспроста она крылья распускает... Видать, прискакала себе в пару и не пынче-завтра выскопыт замуж.

— Должно быть, так, — со вздохом согласилась Ильинична. — Живет она, как хохол на отживе, ничего ей не мило, все не по пей... Она зараз — отрезанный ломоть, а отрезанный ломоть, как ни старайся, — не прилепнись.

— Нам ее и прилепливать не к чему! Гляди, старая дура, не вздумай ее удерживать, ежели разговор зайдет. Нехай идет со двора. Мне уж надоело с ней возжаться! — Пантелей Прокофьевич взобрался на арбу; погоняя быков, закончил: — Она от работы хороится, как собака от мух, а сама все норовит сладкий кусок сожрать да увесяться на грища. Нам после Петра, царство ему небесное, такую в семье не держать. Это не баба, а зараза липучая!

Предположения стариков были ошибочны. У Дарьи и в помыслах не было выходить замуж. О замужестве она не думала, иная у нее на сердце была забота...

Весь этот день Дарья была общительной и веселой. Даже стычка из-за денег не отразилась на ее настроении. Она долго вертелась перед зеркалом, вслестически рассматривая медаль, раз пять передеваясь, примеряя, к какой кофточке больше всего идет полосатая георгиевская ленточка, шутила: «Мне бы теперьца ишо крестов нахватать!», потом отозвала Ильиничну в горенку, сунула ей в рукав две бумажки по двадцать рублей и, прижимая к груди горячими руками узловатую руку Ильи-

ничны, зашептала: «Это — Петю помянуть... Закажите, мамаша, вселенскую панихиду, кутьи наварите...» — И заплакала... Но через минуту, еще с блестящими от слез глазами, уже играла с Мишаткой, покрывала его своей шелковой праздничной шалькой и смеялась так, как будто никогда не плакала и не знала соленого вкуса слез.

Окончательно развеселилась после того, как с поля пришла Дуняшка. Рассказала ей, как получила медаль, и шутливо представила, как торжественно говорил генерал и каким чуделом стоял и смотрел на нее англичанин, а потом лукаво, заговорщически подмигнув Наталье, с серьезным лицом стала уверять Дуняшку, что скоро ей, Дарье, как вдове офицера, награжденной георгиевской медалью, тоже дадут офицерский чин и назначат ее командовать сотней старых казаков.

Наталья чинила детские рубашонки и слушала Дарью, подавая улыбку, а сбита с толку Дуняшка, умоляюще сложив руки, просила:

— Дарьюшка! Милая! Не брешь, ради Христа! А то я уж и не пойму, где ты брешешь, а где правду говоришь. Ты расказывай серьезно.

— Не веришь? Ну, значит, ты глупая девка! Я тебе истинную правду говорю. Офицеры-то все на фронте, а кто будет стариков обучать маршировке и всему такому прочему, что по военному делу полагается? Вот их и представят под мою команду, а уж я с ними, со старыми чертями, управлюсь! Вот как я ими буду командовать! — Дарья притворила дверь в кухню, чтобы не видела свежровь, быстрым движением просунула между ног подол юбки и, захватив его сзади рукой, сверкая оголенными лоспящимися икрами, промаршировала по горнице, стала около Дуняшки, басом скомандовала: «Старик, смирно! Бороды поднять выше! Кругом налево ша-а-гай!».

Дуняшка не выдержала и пыркнула, спрятав в ладонях лицо. Наталья сквозь смех сказала:

— Ох, будет тебе! Ты как не перед добром расходилась!

— Так уж и не перед добром! Да вы его, добра-то, видите? Вас ежели не расчудить, так вы тут от тоски заплеснете!

Но этот порыв веселья у Дарьи кончился так же внезапно, как и возник.

Спустя полчаса она ушла к себе в бокоушку, с досадой сорвала с груди и винула в сундук злополучную медаль; подперев щеки ладонями, долго сидела у окошка, а в ночь куда-то исчезла и вернулась только после первых петухов.

Дня четыре после этого она прилежно работала в поле.

Покос шел невесело. Нехватало рабочих рук. За день выкашивали не больше двух десятин. Сено в валках намочил дождь, прибавилось работы: пришлось валки расстрясать, сушить на солнце. Не успели сметать в копы — снова спустился проливной дождь и шел с вечера до самой зари с осенним постоянством и настойчивостью. Потом установилось ведро, подул восточный ветер, в стени снова застрекотали косялки, от почерневших копен понесло сладковато-прогорклым запахом плесени, степь окуталась паром и сквозь голубоватую дымку чуть-чуть наметились неясные очертания сторожевых курганов, синееющие русла балок и зеленые шапки верб над далекими прудами.

На четвертые сутки Дарья прямо с поля собралась идти в станицу. Она заявила об этом, когда сели на стану полудновать.

Пантелей Прокофьевич с неудовольствием и насмешкой спросил:

— Чего это тебе приспичило? До воскресенья не можешь подождать?

— Стало быть, дело есть и ждать некогда.

— Так-таки и дня подождать нельзя?

Дарья сквозь зубы ответила:

— Нет!

— Ну, уж раз так гребитесь, что и трощки подождать нельзя, — иди. А все-таки, что это у тебя за дела такие спешные проявились? Прознать можно?

— Все будете знать — раньше времени помрете.

Дарья, как и всегда, за словом в карман не лазила, и Пантелей Прокофьевич, сплюнув от досады, прекратил расспросы.

На другой день по дороге из станицы Дарья зашла в хутор. Дома была одна Ильинична с детишками. Минутка побегала было к тетке, но она холодно отстранила его рукой, спросила у свекрови:

— А Наталья где же, мамаша?

— Она на огороде, картошку полет. На что она тебе понадобилась? Либо старик за ней прислал? Нехай он с ума не сходит! Так ему и скажи!

— Никто за ней не прислал, я сама хотела кое-что ей сказать.

— Ты пеши пришла?

— Пеши.

— Скоро управятся наши?

— Должно, завтра?

— Да погоди, куда ты летишь? Сено-то даже дожди испортили? — назойливо выпрашивала старуха, или следом за сходящей с крыльца Дарьей.

— Нет, не дожде. Ну, я пойду, а то некогда...

— С огорода зайди, рубаху старику возьми, слышишь?

Дарья сделала вид, будто не расслышала, и торопливо направилась к скотиньему базу. Возле пристани остановилась, — прищурившись, оглядела зеленеватый, дышащий пресной влагой простор Дона, медленно пошла к огородам.

Над Доном гулял ветер, сверкали крыльями чайки. На пологий берег лениво напелзала волна. Тускло сияли под солнцем меловые горы, покрытые прозрачной сиреневой марью, а омытый дождями прибрежный лес за Доном зеленел молодо и свежо, как в начале весны.

Дарья сняла с натруженных ног чирьки, вымыла ноги и долго сидела на берегу, на раскаленной гальке, прикрыв глаза от солнца ладонью, вслушиваясь в тоскливые крики чаек, в равномерные всплески волн. Ей было грустно до слез от этой тишины, от хватательно за сердце крика чаек, и еще тяжелей и горше казалось то несчастье, которое так внезапно обрушилось на нее...

Наталья с трудом разогнула спину, прислонилась к плетню мотыгу и, увидев Дарью, пошла к ней навстречу:

— Ты за мной, Даша?

— К тебе со своим горюшком...

Они присели рядом. Наталья сняла платок, поправила волосы, выжидающе глянула на Дарью. Ее повозила перемена, пронесшая с даринным лицом за эти дни: щеки осунулись и потемнели, на лбу наконец заглянула глубокая морщинка, в глазах появился горячий тревожный блеск.

— Что это с тобой? Ты ажик с лица почернела, — участливо спросила Наталья.

— Небось, почернеешь... — Дарья насильственно улыбнулась, помолчала. — Много тебе ишо полоть?

— К вечеру кончу. Так что с тобой стражлось?

Дарья судорожно проглотила слюну и глухо и быстро заговорила:

— А вот что: захворала я... У меня — дурная болезнь... Вот как ездил в этот раз, и зацепила... Наделил проклятый офицеришка!

— Догулялась!.. — Наталья испуганно и горестно всплеснула руками.

— Догулялась... И сказать нечего, и жаловаться не на кого... Слабость моя... Подсыпался проклятый, улестил. Зубы белые, а сам оказался червивый... Вот я и пропала теперь.

— Головушка горькая! Ну, как же это? Как же ты теперь? — Наталья расширившимися глазами смотрела на Дарью, а та, овладев собою, глядя себе под ноги, уже спокойнее продолжала:

— Видишь, я ишо в дороге за собой стала примечать... Думаю спервоначалу: может, это так что... У нас, сама знаешь, по бабьему делу бывает всякое. Я вон весной подняла с земли чувал с пшеницей, и три недели месячные шли. Ну, а тут вижу, что-то не так... Знаки появились... Вчера ходила в станицу к фершалу. Было со стыда пропала... Зараз уж все, отыгралась бабочка!

— Лечиться надо, да ить страмы сколько! Их, эти болезни, говорят, лечивают.

— Нет, девка, мою не вылечишь. — Дарья криво улыбнулась и впервые за разговор подняла польшущие огнем глаза. — У меня — сифилис. Это от какого не вылечивают. От какого носы проваливаются... Вон, как у бабки Андроники, видала?

— Как же ты теперь? — спросила Наталья плачущим голосом, и глаза ее налились слезами.

Дарья долго молчала. Сорвала прилепившийся к стеблю кукурузы цветок повителя, близко поднесла его к глазам. Нежнейший, розовый по краям раструб крохотного цветочка, такого прозрачно-легкого, почти невесомого, источал тяжелый плотский запах горячей солнцем земли. Дарья смотрела на него с жадностью и изумлением, словно впервые видела этот простенький и невзрачный цветок; поинюхала его, широко раздувая вздрагивающе ноздри, по-

том бережно положила на взрыхленную, высушенную ветрами землю, сказала:

— Как я буду, спрашиваешь? Я шла из станицы — думала, прикидывала... Руки на себя наложу, вот как буду! Оно и жалковато, да, видно, выбирать не из чего. Все равно, ежли мне лечиться — все в хуторе узнают, указывать будут, отворачиваться, смеяться... Кому я такая буду нужна? Красота моя пропадет, высохну вся, живьем буду гнить... Нет не хочу! — Она говорила так, как будто рассуждала сама с собой, и на протестующее движение Натальи не обратила внимания. — Я думала, как ишо в станицу не ходила, ежли это у меня дурная болезнь — буду лечиться. Через это и деньги отцу не отдала, думала — они мне пригодятся фершалам платить... А зараз иначе решила. И надоело мне все! Не хочу!

Дарья выругалась страшным мужским ругательством, сплюнула и вытерла тыльной стороной ладони повисшую на длинных ресницах слезинку.

— Какие ты речи ведешь... Бога побоялась бы! — тихо сказала Наталья.

— Мне он, бог, зараз ни к чему. Он мне и так всю жизнь мешал. — Дарья улыбнулась, и в этой улыбке, озорной и лукавой, на секунду Наталья увидела прежнюю Дарью. — Того нельзя было делать, этого нельзя, все грехами да страшным судом пужали... Страшнее этого суда, какой я над собою сделаю, не придумаешь. Надоело, Наташка, мне все! Люди все поопостытели. Мне легко будет с собой расквитаться. У меня — ни сзади, ни спереди никого нет. И от сердца отрывать некого... Так-то!

Наталья начала горячо уговаривать, просила одуматься и не помышлять о самоубийстве, но Дарья, рассеянно слушавшая вначале, опомнилась и гневно прервала ее на полуслове:

— Ты это брось, Наташка! Я не за тем пришла, чтоб ты меня отговаривала да упрашивала! Я пришла сказать тебе про свое горе и предупредить, чтобы ты ко мне с nonешнего дня ребят своих не подпускала. Болезнь моя прилипчивая, фершал сказал, да я и сама про нее слышала, и как бы они от меня не заразились, поняла, глупая? И старухе ты скажи, у меня совести нехватает. А я... и не сразу в петлю поведу, не думай, с

этот успеется... Поживу, порадуясь на белый свет, попрощаюсь с ним. А то ить мы, знаешь, как? Пока под сердце не кольнет — ходим и вокруг себя ничего не видим... Я вон какую жизнь прожила и была вроде слепой, а вот как пошла из станицы по-над Доном да как вздумала, что мне скоро надо будет расставаться со всем этим, и кубышки глаза открылись! Гляжу на Дон, а до нем зыбь, и от солнца он чисто серебряный, так и переливается весь, аж глазам глядеть на него больно. Повернусь кругом, гляну, — господи, красота-то какая! А я ее и не примечала... — Дарья застенчиво улыбнулась, смолкла, сжала руки и, справившись с подступившим к горлу рыданием, заговорила снова, и голос ее стал еще выше и напряженнее: — Я уж за дорогу и отревела разов несколько... Подошла к хутору, гляжу — ребятами махонькие купаются в Дону... Ну, поглядела на них, сердце зашлось, и разревелась, как дура. Часа два лежала на песке. Оно и мне нелзго, ежли подумать... Поднялась с земли, отряхнула юбку, привычным движением поправила платок на голове.

— Только у меня и радости, как вздумаю про смерть: придется же на том свете увидаться с Петром... «Ну, скажу, дружечка мой. Петро Пантелевич, принимай свою непутевую жену!». — И с обычной для нее циничной шутливостью добавила: — А драться ему на том свете нельзя, драчливых в рай не пушают, верно? Ну, прощай, Наташенька! Не забудь свекрухе сказать про мою беду.

Наталья сидела, закрыв лицо узкими грязными ладонями. Между пальцев ее, как в расщепях сосны смола, блестя слезы. Дарья дошла до плетеных хворостяных дверей, потом вернулась, деловито сказала:

— С noneшнего дня я буду есть из отдельной посуды. Скажи об этом матери. Да, ишо вот что: пушай она отцу не говорит про это, а то старик взбесится и выгонит меня из дому. Этого ишо мне недоставало. Я отсюда пойду прямо на покос. Прощай!

## ГЛАВА XIV

На другой день вернулись с поля косаря. Пантелей Прокофьевич решил с обеда начинать возку сена. Дуняшка

погнала быков, а Ильинична и Наталья проворно накрыли на стол.

Дарья пришла к столу последняя, села с краю. Ильинична поставила перед ней небольшую миску со щами, положила ложку и ломоть хлеба, остальным, как всегда, налила в большую общую миску.

Пантелей Прокофьевич удивленно взглянул на жену, спросил, указывая глазами на даряину миску.

— Это что такое? Почему это ей отдельно влила? Она, что, не нашей веры стала?

— И чего тебе надо? Ешь!

Старик насмешливо поглядел на Дарью, улыбнулся:

— Ага, понимаю! С той поры, как ей медаль дали, она из общей посуды не желает жрать. Тебе что, Дашка, аль гребостно с нами из одной чашки хлебать?

— Не гребостно, а нельзя, — хрипло ответила Дарья.

— Через чего же это?

— Глотка болит.

— Ну, и что?

— Ходила в станицу, и фершал сказал, чтобы ела из отдельной посуды.

— У меня глотка болела, так я не отделялся, и, слава богу, моя болячка на других не перекинулась. Что же это у тебя за простуда такая?

Дарья поблденела, вытерла ладонью губы и положила ложку. Возмущенная расспросами старика, Ильинична прикрикнула на него:

— Чего ты привязался к бабе? И за столом от тебя нету покоя! Прилипнет, как орпей, и отцепы от него нету!

— Да мне-то что? — раздраженно буркнул Пантелей Прокофьевич, — по мне, вы хоть через край хлебайте.

С досады он опрокинул в рот полную ложку горячих щей, обжегся и, выплюнув на бороду щя, заорал дурным голосом:

— Подать не умеете, распродайте! Кто такие ши, прямо с пылу, продает?!

— Поменьше бы за столом гутарил, оно бы и не пекся, — утешала Ильинична.

Дуняшка чуть не пыркнула, глядя, как побагровевший отеп выбирает из бороды капусту и бусочки картофеля, но лица остальных были настолько серьезные, что и она сдержалась, и взгляд от отца отвела, боясь нехстати рассмеяться.

После обеда за сеном поехали на двух арбах старик и обе снохи. Пантелей Прокофьевич длинным навильником подавал на арбы, а Наталья принимала вороха пахнущего гнильцой сена, утаптывала его. С поля она возвращалась вдвоем с Дарьей. Пантелей Прокофьевич на старых шаговитых быках уехал далеко вперед.

За курганом садилось солнце. Горький полынный запах выкошенной степи к вечеру усилился, но стал мягче, желанней, утратив полдневную удручающую остроту. Жара спала. Быки шли охотно, и взбитая копытами пресная пыль на летнике подымалась и оседала на кустах придорожного татарника. Верхушки татарника с распустившимися малиновыми макушками пламенно сияли. Над ними кружились шмели. К далекому стенному пруду, перекликаясь, летели чибисы.

Дарья лежала на покачивающемся возу вниз лицом, опираясь на локти, изредка взглядывая на Наталью. Та, о чем-то задумавшись, смотрела на закат: на спокойном, чистом лице ее бродили медно-красные отблески. «Вот Наташка счастливая, у нее и муж, и дети, ничего ей не надо, в семье ее любят, а я—конечный человек. Издохну—никто и ох не скажет»—думала Дарья, и у нее вдруг шевельнулось желание как-нибудь огорчить Наталью, причинить и ей боль. Почему только она, Дарья, должна биться в припадках отчаяния, беспрестанно думать о своей пронашей жизни и так жестоко страдать? Она еще раз бегло взглянула на Наталью, сказала, стараясь придать голосу задушевность:

—Хочу, Наталья, повиниться перед тобой...

Наталья отозвалась не сразу. Она вспомнила, глядя на закат, как когда-то давно, когда она была еще невестой Григория, приезжал он ее проведать и она вышла проводить его за ворота, и тогда так же горел закат, малиновое зарево вставало на западе, кричали в вербах грачи... Григорий отъезжал полубовернувшись на selle, и она смотрела ему вслед со слезами взволнованной радости и, прижав к острой, девичьей груди руки, ощущала стремительное биение сердца... Ей стало неприятно оттого, что Дарья вдруг нарушила молчание, и она нехоты спросила:

—В чем виниться-то?

—Был такой грех... Помнишь, весной приезжал Григорий с фронта на побывку? Вечером в энтот день, помнится, я доила корову. Пошла в курень, слышу—Аксинья меня окликает. Ну, зашла к себе, подарила, прямо-таки навязала, вот это колечко,—Дарья повертела на безымянном пальце золотое кольцо,—и упросила, чтобы я вызвала к ней Григория... Мое дело—что ж... Я ему сказала. Он тогда всю ночь... Помнишь, он говорил, будто Кулинов приезжал и он с ним просидел? Брехня! Он у Аксиньи был!

Ошеломленная, поблестевшая Наталья молча ломала в пальцах сухую веточку донника.

—Ты не сердчай, Наташа, на меня. Я и сама не рада, что призналась тебе...—искательно сказала Дарья, пытаясь заглянуть Наталье в глаза.

Наталья молча глотала слезы. Так неожиданно и велико было снова поразившее ее горе, что она не нашла в себе сил ответить что-либо Дарье и только отворачивалась, пряча свое искаженное страданием лицо.

Уже перед въездом в хутор, посадуя на себя, Дарья подумала: «И чорт меня дернул расквитить ее. Теперь будет целый месяц слезы точить! Нехай бы уж жила, ничего не знаячи. Таким коровам, как она, вслепую жить лучше». Желая как-то сгладить впечатление, произведенное ее словами, она сказала:

—Да ты не убивайся ложе. Эка беда какая! У меня горюшко потяжелее твоего, да и то хожу козырем. А там чорт его знает,—может, он и на самом деле не видался с ней, а ходил к Кулинову. Я же за ним не следила. А раз непойманный—значит, не вор.

—Догадывалась...—тихо сказала Наталья, вытирая глаза кончиком платка.

—А догадывалась, так чего ж ты у него не допыталась? Эх, ты, никудышня! У меня бы он не открутился! Я бы его в такое шемило взяла, что аж всем чертям тошно стало бы!

—Боялась правду узнать... Ты думаешь—это легко?—блеснув глазами, заикаясь от волнения, сказала Наталья.—Это ты так... с Петром жила... А мне, как вспомню... как вспомню все, что пришлось... пришлось пережить... И зараз страшно!

—Ну, тогда забудь об этом, —простодушно посоветовала Дарья.

— Да разве это забывается!.. — чужим, охрипшим голосом воскликнула Наталья.

— А я бы забыла. Дело большое!

— Позабудь ты про свою болезнь!

Дарья рассмеялась.

— И рада бы, да она, проклятая, сама о себе напоминает! Слушай. Наташка, хочешь, я у Аксиньи все дочиста узнаю? Она мне скажет! Накажи господь! Нет такой бабы, чтобы утерпела, не рассказала об том, кто и как ее любит. По себе знаю!

— Не хочу я твоей услуги. Ты мне и так услужила, — сухо ответила Наталья. — Я — не слепая, вижу, для чего ты рассказала мне про это. Ить не из жалости ты призналась, как сводничала, а чтобы мне тяжелее было...

— Верно! — вздохнув, согласилась Дарья. — Рассуди сама, не мне же одной страдать?

Дарья слезла с арбы, взяла в руки надыгач, повела устало заплетавшихся ногами быков под гору. На вьезде в проулок она подошла к арбе.

— Эй, Наташка! Что я у тебя хочу спросить... Дюже ты своего любишь?

— Как умею, — невнятно отозвалась Наталья.

— Значит, дюже. — вздохнула Дарья. — А мне вот ни одного дюже не доводилось любить. Любила по-собачьему, кое-как, как приходилось... Мне бы теперь сызнова жизнью начать — может, и я бы другой стала?

Черная ночь сменила короткие летящие сумерки. В темноте смегивали на базу сено. Женщины работали молча, и Дарья даже на окрики Пантелея Прокофьевича не отвечала.

## ГЛАВА XV

Стремительно преследуя отступавшего от Усть-Медведицкой противника, объединенные части Донской армии в верхнедонских повстанцев шли на север. Под хутором Шашкиным на Медведице разгромленные полки 9-й Красной армии пытались задержать казаков, но были снова сбиты и отступали почти до самой Грязе-Царицынской железнодорожной ветки, не оказывая решительного сопротивления.

Григорий со своей дивизией участвовал в бою под Шашкиным и крепко помог пехотной бригаде генерала Суту-

лова, попавшей под фланговый удар. Конный полк Ермакова, ходивший по приказу Григория в атаку, захватил в плен около двухсот красноармейцев, отбил четыре станковых пулемета и одиннадцать патронных повозок.

К вечеру с группой казаков 1-го полка Григорий в'ехал в Шашкин. Около дома, занятого штабом дивизии, под охраной полусотни казаков, стояла густая толпа пленных, белея бязевыми рубахами и кальсонами. Большинство их было разуто и раздето до белья, и лишь изредка в белесой толпе зеленела грязная защитная гимнастерка.

— До чего белые стали, как гуси! — воскликнул Прохор Зыков, указывая на пленных.

Григорий натянул поводья, повернул копя боком; разыскав в толпе казаков Ермакова, помянул его к себе пальцем.

— Под'езжай, чего ты по-за чужими спинами хоронишься?

Покашливая в кулак, Ермаков под'ехал. Под черными густыми усами его, на разбитых губах запеклась кровь, правая щека вздулась и темнела свежими ссадинами. Во время атаки конь под ним споткнулся на всем скаку, упал, и камнем вылетевший из седла Ермаков сажня два скользя на животе по кочковатой толочке. И он, и конь одновременно вскочили на ноги. А через минуту Ермаков, в седле и без фуражки, страшно окровавленный, но с обнаженной пашкой в руке, уже настигал катившуюся по косогору казачью лаву...

— И чего бы это мне хорониться? — с кажущимся удивлением спросил он, поровнявшись с Григорием, а сам смущенно отводил в сторону еще не потухшие после боя, налитые кровью, осатанелые глаза.

— Чует кошка, чью мясу с'ела! Чего сзади едешь? — гневно спросил Григорий.

Ермаков, трудно улыбаясь распухшими губами, покосился на пленных.

— Про какую это мясу ты разговор ведешь? Ты мне зарас загалки не задавай, все равно не разгалаю, я нынче с коня сторчь головой падал...

— Твоя работа? — Григорий плетью указал на красноармейцев.

Ермаков сделал вид, будто впервые увидел пленных, и разыграл неопишемое удивление:



— Вот, сукины сыны! Ах, проклятые! Раздели! Да когда же это они ушли? Скажи на милость! Только-что отъехал, строго-настрого приказал не трогать, и вот тебе, растелешили белых дочиста!..

— Ты мне дурочку не трепи! Чего ты прикидываешься? Ты велел раздеть?

— Сохрани господь! Да ты в уме, Григорий Пантелеевич?

— Приказ помнишь?

— Это насчет того, чтобы...

— Да-да, это насчет того самого!..

— Как же, помню. Наизусть помню! Как стихок, какие в школе, бывалочка, разучивали.

Григорий невольно улыбнулся, — перегнувшись на седле, схватил Ермакова за ремень португеей. Он любил этого лихого, отчаянно храброго командира.

— Харлампий! Без шуток, к чему ты дозволил? Новенький полковник, какого заместо Копылова посадили в штаб, донесет, и придется отвечать. Ить не возрадуешься, как начнется волянка, спросы да допросы.

— Не мог стерпеть, Пантелевич! — серьезно и просто ответил Ермаков. — На них было все с иглочки, им только-что в Усть-Медведице выдали, ну, а мои ребята пообносились, да и дома с одежей не густо. А с них — один чорт — все в тылу посимали бы! Мы их будем забирать, а тыловая сволочь будет раздевать? Нет уж, нехай лучше наши попользуются! Я буду отвечать, а с меня взятки гладки! И ты пожалуйста, ко мне не привязывайся. Я знать ничего не знаю и об этих делах сном-духом не ведаю!

Поровнялись с толпой пленных. Сдержанный говор в толпе смолк. Стоявшие с краю сторонились конных, поглядывали на казаков с угрюмой опаской и настороженным выжиданием. Один красноармеец, распознав в Григории командира, подошел вплотную, коснувшись рукой стремени:

— Товарищ начальник! Скажите вашим казакам, чтобы нам хоть шиннел возвратили. Явите такую милость! По ночам холодно, а мы прямо-таки нагнел. — сами видите.

— Небось, не замерзнешь сереть лета, суслик! — сурово сказал Ермаков и отпустил красноармейца конем, повернулся к Григорию. — Ты не сумлевайся, я скажу, чтоб им отдали кое-что из

старья. Ну, сторонись, сторонись, вояки! Вам бы в штанах вшей бить, а не с казаками сражаться!

В штабе допрашивали пленного командира роты. За столом, покрытым ветхой клеенкой, сидел новый начальник штаба, полковник Андреев — пожилой, курносый офицер, с густо проседью на висках и с мальчишески оттопыренными, крупными ушами. Против него, в двух шагах от стола, стоял красный командир. Показания допрашиваемого записывал один из офицеров штаба, сотник Сулин, прибывший в дивизию вместе с Андрееновым.

Красный командир — высокий, рыжеусый человек, с пепельно-белесыми, остриженными под ежик волосами, — стоял, неловко переступая голыми ногами по крашеному охрой полу, изредка поглядывая на полковника. Казаки оставили на плешном олну нижнюю солдатскую рубашку из желтой, неотбеленной бязи да взамен отобранных штанов дали изорванные в клочья казачьи шаровары с выцветшими лампасами и неумело приштопанными латками. Проходя к столу, Григорий заметил, как пленный коротким, смущенным движением поправил разорванные на ягодицах шаровары, стараясь прикрыть оголенное тело.

— Вы говорите, Орловским губвоенкоматом? — спросил полковник коротко, поверх очков взглянув на пленного, и снова опустил глаза и, прищурившись, стал рассматривать и вертеть в руках какую-то бумажку — как видно, документ.

— Да.

— Осенью прошлого года?

— В конце осени.

— Вы ждете!

— Я говорю правду.

— Утверждаю, вы ждете!..

Пленный молча пожал плечами. Полковник глянул на Григория, сказал, пренебрежительно кивнув в сторону допрашиваемого:

— Вот, полюбуйтесь: бывший офицер императорской армии, а сейчас, как видите, большевик. Попался и сочиняет, будто у красных он случайно, будто его мобилизовали. Врет дико, наивно, как гимназистика, и думает, что ему поверят, а у самого попросту нехватает гражданского мужества сознаться в том, что предал родину... Боятся, мерзавец!

Трудно двинуть кадыком, пленный заговорил:

— Я вижу, господин полковник, у вас хватает гражданского мужества из то, чтобы оскорблять пленного...

— С мерзавцами я не разговариваю!

— А мне сейчас приходится говорить.

— Осторожнее! Не вынуждайте меня, я могу вас оскорбить действием!

— В вашем положении это так трудно и — главное — безопасно!

Не обмолвившийся ни словом Григорий присел к столу, с сочувственной улыбкой смотрел на бледного от негодования, бесстрашно огрызавшегося пленника, «Здорово оципал он полковничка!»—с удовольствием подумал Григорий и не без злорадства глянул на мясистые, багровые щеки Андреянова, потергивавшиеся от верного тика.

Своего начальника штаба Григорий не влюбил с первой же встречи. Андреянов принадлежал к числу тех офицеров, которые в годы мировой войны не были на фронте, а благополучно отсиживались по тылам, не пользуясь впечательные служебные и родственные связи и знакомства, всеми силами пеляясь за безопасную службу. Полковник Андреянов и в гражданскую войну ухитрился работать на оборону, сидя в Новочеркасске, и только после отстранения от власти атамана Краснова он вынужден был поехать на фронт.

За две ночи, проведенных с Андреяновым на одной квартире, Григорий с его слов успел узнать, что он очень набожен, что он без слез не может говорить о торжественных церковных богослужениях, что жена его — самая примерная жена, какую только можно представить, что зовут ее Софией Александровной и что за ней некогда безуспешно ухаживал сам наказный атаман барон фон-Граббе; кроме этого, полковник любезно и подробно рассказал: каким именно владел его покойный родитель, как он—Андреянов—дослужился до чина полковника, с какими высокопоставленными лицами ему приходилось охотиться в 1916 году; а также сообщил, что лучшей игрой он считает вист, полезнейшим из напитков—коньяк, настоянный на тминном листе, а наимыгоднейшей службой — службу в войсковом интендантстве.

От близких оружейных выстрелов полковник Андреянов вздрагивал, вер-

хом ездил неохотно, ссылаясь на болезнъ печени; неустанно заботился об увеличении охраны при штабе, а к казакам относился с плохо скрываеомой неприязнью, так как, по его словам, все они были предателями в 1917 году и с этого года он возненавидел всех «нижних чинов» без разбора. «Только дворянство спасет Россию!»—говорил полковник, всполязь упомяная о том, что и он—дворянского рода, и что род Андреяновых—старейший и заслуженнейший на Дону.

Несомненно, основным пороком Андреянова была болтливость. та старческая, безудержная и страшная болтливость, которой страдают некоторые словоохотливые и неумные люди, достигшие преклонного возраста и еще смолду привыкшие судить обо всем легко и развязно.

С людьми этой птичьей породы Григорий не раз встречался на своем веку и всегда испытывал к ним чувство глубокого отвращения. На второй день после знакомства с Андреяновым Григорий начал избегать встреч с ним и днем преуспевал в этом, но, как только останавливались на почевку, Андреянов разыскивал его, торопливо спрашивал: «Вместе почужем?»—и, не дожидаясь ответа, начинал: «Вот вы, любезнейший мой, говорите, что казаки неустойчивы в нашем бою, а я, в бытность мою офицером был поручений при его превосходительстве... Эй, кто там, принесите мой чемодан и постель сюда!». Григорий ложился на спину, закрывал глаза и, стиснув зубы, слушал, потом неучтиво поворачивался в неугодному рассказчику спиной, с головой укрывался шинелью, думал с немом яростью: «Как только получу приказ о переводе—дулану его чем-нибудь тяжелым по голове: может, после этого он хоть на неделю языка лишится!» «Вы спите, сотник?»—спрашивал Андреянов. «Сплю»—глухо отвечал Григорий. «Позвольте, я еще не досказал!»—и рассказ продолжался. Сквозь сон Григорий думал: «Нарочно подслули мне этого балабона. Должно, Фицхеллауров постарался. Ну как с ним, с таким ушибленным, служить?» И, засыпая, слышал приятельный тенорок полковника, звучавший, как дождевая дробь по железной крыше.

Вот поэтому-то Григорий и злорадствовал, видя, как ловко пленный ко-

мандир отделяет его разговорчивого начальника штаба.

С минуту Андрянов молчал; щурился; длинные мочки его оттопыренных ушей ярко пунцовели, лежавшая на столе белая, пухлая рука, с массивным золотым кольцом на указательном пальце, вздрагивала:

— Слушайте вы, убудок!—сказал он охрипшим от волнения голосом.—Я приказал привести вас ко мне не для того, чтобы пикироваться с вами, вы этого не забываете! Понимаете ли вы, что вам не отвертеться?

— Отлично понимаю.

— Тем лучше для вас. В конце-концов мне наплевать, добровольно вы пошли к красным или вас мобилизовали. Важно не это, важно то, что вы из ложно понимаемых вами соображений чести отказываетесь говорить...

— Очевидно, мы с вами разно понимаем вопросы чести.

— Это потому, что у вас ее не осталось в вот столько!

— Что касается вас, господин полковник, то, судя по обращению со мной, я сомневаюсь, чтобы честь у вас вообще когда-нибудь была!

— Я вижу — вы хотите ускорить развязку?

— А вы думаете, в моих интересах ее затягивать? Не пугайте меня, не выйдет!

Андрянов дрожащими руками раскрыл портсигар, закурил, сделал две жадных затяжки и снова обратился к пленному:

— Итак, вы отказываетесь отвечать на вопросы?

— О себе я говорил.

— Идите к черту! Ваша паршивая личность меня меньше всего интересует. Потрудитесь ответить вот на какой вопрос: какие части подошли к вам от станции Себряково?

— Я вам ответил, что я не знаю.

— Вы знаете!

— Хорошо, доставлю вам удовольствие: да, я знаю, но отвечать не буду.

— Я прикажу вас вышорить шомполами, и тогда вы заговорите!

— Едва ли!—Пленный тронул левой рукой ус, уверенно улыбнулся.

— Камышинский полк участвовал в этом бою?

— Нет.

— Но ваш левый фланг прикрывала кавалерийская часть, что это за часть?

— Оставьте! Еще раз повторяю вам, что на подобные вопросы отвечать не стану.

— На выбор: или ты, собака, сейчас же развяжешь язык, или через десять минут будешь поставлен к стенке! Ну?!

И тогда неожиданно высоким, юношески звучным голосом пленный сказал:

— Вы мне надоели, старый дурак! Тупица! Если б вы попались ко мне, а бы вас не так допрашивал!..

Андрянов побледнел, схватился за кобуру нагана. Тогда Григорий неторопливо встал и предостерегающе поднял руку.

— Ого! Ну, теперь хватит! Погута-рили—и хватит. Обое вы горячие, как погляжу... Ну, не соплись, и не нало, об чем толковать? Он правильно делает, что не выдает своих. Ей-богу, это здорово! Я и не ждал!

— Нет, позвольте!.. — горячился Андрянов, тщетно пытаясь расстегнуть кобуру.

— Не позволю!—с веселым оживлением сказал Григорий, вплотную подходя к столу, заслоня собой пленного.—Пустое дело—убить пленного. Как вас совесть не зазревает намеряться на него, на такого? Человек безоружный, взятый в неволю, вон на нем и одежды не оставили, а вы махиваетесь...

— Долой! Меня оскорбил этот негодяй!—Андрянов с силой оттолкнул Григория, выхватил наган.

Пленный живо повернулся лицом к окну,—как от холода повел плечам. Григорий с улыбкой следил за Андряновым, а тот, почувствовав в ладони шероховатую рукоять револьвера, как-то нелепо взмахнул им, потом опустил дулом кинзу и отвернулся.

— Рук не хочу марать... — отдышавшись и облизав пересохшие губы, хрипло сказал он.

Не сдерживая смеха, спяя из-под усов кипенным оскалом зубов, Григорий сказал:

— Оно и не пришлось бы! Вы поглядите, наган-то у вас разряженный. Ишо на почевке, я проснулся утром, взял его со стула и поглядел... Ни отного патрона в нем, п не чипенный, должно, месяца два! Плохо вы доглядаете за личным оружием!

Андрейнов опустил глаза, повертел большим пальцем барабан револьвера, улыбнулся:

— Чорт! А ведь верно...

Сотник Сулин, молча и насмешливо наблюдавший за всем происходившим, свернул протокол допроса, сказал, приятно картавя:

— Я вам неоднократно говорил, Семен Поликарпович, что с оружием вы обращаетесь безобразно. Сегодняшний случай—лишнее доказательство тому.

Андрейнов поморщился, крикнул:

— Эй, кто там из нижних чинов? Сюда!

Из передней вошли два ординарца и начальник караула.

— Уведите!—Андрейнов кивком головы указал на пленного.

Тот повернулся лицом к Григорию, молча поклонился ему, пошел к двери. Григорию показалось, будто у пленного под рыжеватыми усами в чуть приметной благодарной усмешке шевельнулись губы...

Когда утихли шаги, Андрейнов усталым движением снял очки, тщательно протер их кусочком замши, желчно сказал:

— Вы блестяще защищали эту сволочь, это—дело ваших убеждений, но говорить при нем о нагане, ставить меня в неловкое положение,—послушайте, что же это такое?

— Беда не дже большая,—примирительно ответил Григорий.

— Нет, все же напрасно. А знаете ли, я бы мог его убить. Тип возмутительный! До вашего прихода я бился с ним полчаса. Сколько он тут врал, путал, изворачивался, давал заведомо ложных сведений — ужас! А когда я его уличил — попросту и наотрез отказался говорить. Видите ли, офицерская честь не позволяет ему выдавать противнику военную тайну. Тогда об офицерской чести не думал, сукни сын, когда занимался к большевикам... Полагаю, что его и еще двух из командного состава надо без шума расстрелять. В смысле получения интересующих нас сведений — они все безнадежны: закоренелые и непоправимые негодяи. Следовательно, и шадить их незачем. Вы — как?

— Каким путем вы узнали, что он — командир роты? — вместо ответа спросил Григорий.

— Выдал один из его же красноармейцев.

— Я полагаю — надо расстрелять этого красноармейца, а командиров оставить! — Григорий выжидающе взглянул на Андрейнова.

Тот пожал плечами и улыбнулся так, как улыбаются, когда собеседник неудачно шутит.

— Нет, серьезно, вы как?

— А вот так, как я уже вам сказал.

— Но, позвольте, это из каких же соображений?

— Из каких? Из тех самых, чтобы сохранить для русской армии дисциплину и порядок. Вчера, когда мы ложилась спать, вы, господин полковник, даже толково рассуждали, какие порядки надо будет заводить в армии после того, как разобьем большевиков, чтобы вытравить из молодежи красную заразу. Я с вами был великим согласный, помните? — Григорий поглаживал усы, следя за меняющимся выражением лица полковника, рассудительно говорил: — А раз уж вы что предлагаете? Этим же вы разврат заведете! Значит, нехай солдаты вылают своих командиров? Это вы чему же их научаете? А доведись нам с вами быть на таком положении, тогда что? Нет, помплуйте, я тут упрусь! Я — против.

— Как хотите, — холодно сказал Андрейнов и внимательно посмотрел на Григория. Он слышал о том, что повстанческий командир дивизии своенравен и чулаковат, но такого от него не ожидал. Он только добавил: — Мы обычно так поступали в отношении взятых в плен красных командиров, и в особенности — бывших офицеров. У вас что-то новое... И мне не совсем понятно ваше отношение к такому, казалось бы, бесспорному вопросу.

— А мы обычно убивали их в бою, если доводилось, но пленных без нужды не расстреливали! — багровея, ответил Григорий.

— Хорошо, пожалуйста, отправим их в тыл, — согласился Андрейнов. — Теперь вот какой вопрос: часть пленных — мобилизованные крестьяне Саратовской губернии — изымла железные снаряды в ваших рядах Третий пехотный полк наш не насчитывает и трехсот штыков. Считаете ли вы возможным после тщательного отбора влить в него часть добровольцев из пленных? На этот счет из штабарма у нас имеются определенные указания.

— Ни одного мужика я к себе не возьму. Убыль пушай пополняют мне казаками,— категорически заявил Григорий.

Андрейнов попробовал убедить его:

— Послушайте, не будем спорить. Мне понятно ваше желание иметь в дивизии однородный казачий состав, но необходимость понуждает нас не брезговать и пленными. Даже в Добровольческой армии некоторые полки укомплектовываются пленными.

— Они пушай делают, как хотят, а я отказываюсь принимать мужиков. Давайте об этом больше не будем гуртарить, — отрезал Григорий.

Спустя немного он вышел распорядиться относительно отправки пленных. А за обедом Андрейнов взволнованно сказал:

— Очевидно, не сработаемся мы с вами...

— Я тоже так думаю, — равнодушно ответил Григорий. Не замечая улыбки Сулкина, он пальцами достал из тарелки кусок вареной баранины, начал с таким волчьим хрустом дробить зубами твердоватый хрящ, что Сулин сморщился, как от сильной боли, и даже глаза на секунду закрыл.

Через два дня преследование отступавших красных частей повела группа генерала Сальникова, а Григория срочно вызвали в штаб группы, и начальник штаба — пожилой благообразный генерал, — ознакомив его с приказом командующего Донской армией о расформировании повстанческой армии, без обиняков сказал:

— Ведя партизанскую войну с красными, вы успешно командовали дивизией, теперь же мы не можем доверить вам не только дивизию, но и полка. У вас нет военного образования, и в условиях широкого фронта, при современных методах ведения боя, вы не сможете командовать крупной войсковой единицей. Вы согласны с этим?

— Да, — ответил Григорий. — Я сам хотел отказаться от командования дивизией.

— Очень хорошо, что вы не переоцениваете ваших возможностей. У нынешних молодых офицеров это качество встречается весьма редко. Так вот: приказом командующего фронтом вы назначаетесь командиром четвертой сотни де-

вятнадцатого полка. Полк сейчас на марше, верстах в двадцати отсюда. Поезжайте сегодня же, в крайнем случае — завтра. Вы, как будто, что-то имеете сказать?

— Я хотел бы, чтобы меня отчислили в хозяйственную часть.

— Это невозможно. Вы будете необходимы на фронте.

— Я за две войны четырнадцать раз ранен и контужен.

— Это не имеет значения. Вы молоды, выглядите прекрасно и еще можете сражаться. Что касается ранений, то кто из офицеров их не имеет? Можете идти. Всего наилучшего!

Вероятно, для того, чтобы предупредить недовольство, которое неизбежно должно было возникнуть среди верхнедонцов при расформировании повстанческой армии, многим рятовым казакам, отличившимся во время восстания, тотчас же после взятия Усть-Медведицкой нашили на погоны лычки, почти все вахмистры были произведены в полхорунжие, а офицеры — участники восстания — получили повышение в чинах и награды.

Не был обойден и Григорий: его произвели в сотники, в приказе по армии отметили его выдающиеся заслуги по борьбе с красными и объявили благодарностью.

Расформирование произвели в несколько дней. Безграмотных командиров дивизий и полков заменили генералы и полковники, командирами сотен назначили опытных офицеров; целиком был заменен командный состав батарей и штабов, а рятовые казаки пошли на пополнение номерных полков Донской армии, потрепанной в боях на Дону.

Григорий перед вечером собрал казаков, объявил о расформировании дивизии. — прощаясь, сказал:

— Не поминайте лихом, станишники! Послужили вместе, неволя заставила, а с нынешнего дня будем трепать кружину наврозь. Самое главное — головы берегите, чтобы красные вам их не подыравили. У нас они, головы, хотя и дурные, но зря подставлять их под пули не надо. Или ипо придется думать, крепко думать, как дальше быть...

Казаки подавленно молчали, потом загомонили все сразу, разноголосо и глухо:

— Опять старинка зачинается?

— Куда же нас теперича?  
 — Силуют народ, как хотят, сволочи!  
 — Не желаем расформировываться! Что это за новые порядки?!  
 — Ну, ребята, объединились на свою шею!..

— Сызнова их благородия заламывать нас зачинают!  
 — Зараз держися! Суставчики зачнут выпрямлять во-всю...

Григорий выждал тишины, сказал:  
 — Занапрасну глотки дерете. Кончилась легкая пора, когда можно было обсуждать приказы и супротивничать начальникам. Расходись по квартирам да языками поменьше орудовать, а то по нынешним временам они не до Клева доводят, а в аккурат до полевых сужов да до штрафных сотен.

Казакки подходили взводами, прощались с Григорием за руку, говорили:

— Прощай, Пантелевич! Ты нас тоже недобрым словом не поминай.

— Нам с чужими тоже, ох, нелегко будет службицу ломать!

— Зря ты нас в трату дал. Не соглашался бы славать дивизию!

— Жалкуем об тебе, Мелехов. Чужие командиры, они, может, и образованнее тебя, да ить нам от этого не легче, а тяжелее будет, вот в чем беда!

Лишь один казак, уроженец с хутора Наоловского, сотенный балагур и остролов, сказал:

— Ты, Григорий Пантелевич, не верь им. Со своими ли работаешь, аль с чужими — одинаково тяжело, ежели работа не в совесть!

к командиру полка. Было раннее утро. Григорий осматривал лошадей, замечался и явился только через полчаса. Он ждал, что строгий и требовательный к офицерам командир полка сделает ему замечание, но тот поздоровался очень приветливо, спросил: «Ну, как вы находите сотню? Стояний народ?» — и, не дождавшись ответа, глядя куда-то мимо Григория, сказал:

— Вот что, дорогой, должен вам сообщить очень прискорбную новость... У вас дома — большое несчастье. Сегодня ночью из Вешенской-получена телеграмма. Предоставляю вам месячный отпуск для устройства семейных дел. Поезжайте.

— Дайте телеграмму,—бледнея, проговорил Григорий.

Он взял сложенный вчетверо листок бумаги, развернул его, прочитал, сжал в мгновенно запотевшей руке. Ему потребовалось небольшое усилие, чтобы овладеть собой, и он лишь слегка загнулся, когда говорил:

— Да, этого я не ждал. Стало быть, я поеду. Прощайте.

— Не забудьте взять отпускное свидетельство.

— Да-да. Спасибо, не забуду.

В сени он вышел, уверенно и твердо пагая, привычно придерживая шапку, но, когда начал схлест с высокого крыльца, вдруг перестал слышать звук собственных шагов и тотчас почувствовал, как острая боль штыком вошла в его сердце.

На нижней ступеньке он качнулся и ухватился левой рукой за шаткое перильце, а правой — проворно расстегнул воротник гимнастерки. С минуту стоял, глубоко и часто дыша, но за эту минуту он как бы охмелел от страдания, и, когда оторвался от перил и направился к привязанному в калитки коню, то шел, уже тяжело ступая ногами, слегка покачиваясь.

#### ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ В № 4 «РОМАН-ГАЗЕТЫ»

Страница	Строка	Колонка	Напечатано	Следует читать:
5 страница	6 строка			
22 страница	сверху	левая	сказал:	сказала:
	строка			
20 страница	сверху	левая	Кашнин.	Кашнин.
	строка			
	снизу	правая	конференция	конфедерация

Ответственный редактор М. СЕРЕБРЯНСКИЙ

Технический редактор Э. Лейбович

Зах. 614. 4¼ п. л. 71500 экз. в п. л. 7¼ уч. авт. л. Формат 60×92. Тир. 340.000. Сдано в производство 9.IV—38 г. Подписано к печ. 2/VI—38 г. Уполн. Главл. Б—39.780.

Набор и матрицирование — тип. «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, 8, Пушкинская площадь.

Печатать в бр.-лит. № 15 в тип. треста «Полиграфбизнес». Москва, Шубинский пер. 10.

Государственное Издательство „Художественная литература“  
при Совнаркомѣ РСФСР

## **ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА**

на 2-е полугодие

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

# **„ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВРЕМЕННОК“**

Орган Ленинградского отделения Союза советских писателей

ГОД ИЗДАНИЯ ШЕСТОЙ

Журнал рассчитан на квалифицированного рабочего читателя,  
широкие круги советской интеллигенции, учащихся вузов и т. д.

### **В 1938 ГОДУ В ЖУРНАЛЕ ПЕЧАТАЮТСЯ:**

Ю. ТЫНЯНОВ — «Пушкин» (продолжение).

В. КАВЕРИН — «Чудеса и секреты».

Ю. ГЕРМАН — «Алексей Жмакин» (окончание).

Г. ГОР — «Неси меня река».

П. КАПИЦА — «Боксеры».

Кроме того в журнале печатаются рассказы, повести,  
стихотворения, а также статьи и критические заметки.

### **ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:**

на 6 мес. — 15 руб., на 3 мес. — 7 р. 50 к.

Цена отдельного номера 2 р. 50 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ПОВСЕМЕСТНО «СОЮЗПЕЧАТЬЮ», ПОЧТОЙ,  
А ТАКЖЕ ОТДЕЛЕНИЯМИ И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ КОГИЗ'а.

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ВО ВСЕХ КИОСКАХ «СОЮЗПЕЧАТИ» И МАГАЗИНАХ  
КОГИЗ'а.



# НОВЫЙ ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ



## ДЕТСТВО ГОРЬКОГО

Сценарий И. А. ГРУЗДЕВА, М. С. ДОНСКОГО  
Постановка Марка ДОНСКОГО  
Ст. ассистент — Р. Я. ПЕРЕЛЬШТЕЙН  
Ас. режиссера — Э. И. ФАЙК  
Гл. оператор — П. В. ЕРМОЛОВ  
Оператор — Ц. Ф. МАЛОВ

Ас. оператора — В. Э. ТОМБЕРГ  
Композитор — Лев ШВАРЦ  
Дирижер — Д. С. ВЛОК  
Звукооператор — И. ОЗОРНОВ  
Гл. администратор — М. Н. ТОРГАНЦЕВА  
Администратор — А. С. ЦВЕРКЕ

Производство кино-студии «СОЮЗДЕТФИЛЬМ»



Цена 50 коп.

Издательство ЦК ВЛКСМ  
«Молодая гвардия»

## ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на второе полугодие 1938 г.  
на ежемесячный литературно-художественный  
и массово-политический журнал

# „МОЛОДОЙ КОЛХОЗНИК“

Журнал ЦК ВЛКСМ «Молодой колхозник» рассчитан на передовую колхозную молодежь, трактористов, бригадиров, избачей, учителей.

В журнале «Молодой колхозник» печатаются рассказы, очерки, стихи, биографии революционеров-большевиков, материалы по истории партии, научно-популярные статьи, народное творчество.

В журнале «Молодой колхозник» принимают участие лучшие писатели, очеркисты и поэты.

## СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Подписка принимается всеми отделениями, магазинами, киосками, уполномоченными КОГИЗа, во всех предприятиях связи, всеми почтальонами.

Подписная цена: на 6 мес. — 4 руб. 50 коп.  
на 5 мес. — 3 руб. 75 коп.  
на 3 мес. — 2 руб. 25 коп.

Цена отдельного номера — 75 коп.